Мариуш Вилькс
Тропами северного оленя

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Объектом многолетнего внимания польского писателя Мариуша Вилька является русский Север. Вильк обживает пространство словом, и разрозненные, казалось бы, страницы его прозы — записи «по горячим следам», исторические и культурологические экскурсы, интервью и эссе образуют единое течение *познающего чувства и переживающей мысли.*

Север для Вилька — «территория проникновения»: здесь возникают время и уединение, необходимые для того, чтобы нырнуть вглубь — «под мерцающую поверхность сиюминутных событий», увидеть красоту и связанность всех со всеми.

Преодолению барьера чужести посвящена новая книга писателя. Чужой — всего лишь другой. Таковы саамы, маленький северный народ, среди которого писатель прожил некоторое время в 2005–2006 годах. Увиденные М. Вильком на Соловецких островах саамские лабиринты подвигли его начать это увлекательное путешествие.

- Мариуш Вильк
  - ПЕРВЫЕ СЛЕДЫ
  - ЗИМА В ЛОВОЗЕРЕ
  - ПИСАТЕЛЬ-КОЧЕВНИК
  - ПО СЛЕДАМ ХАРУЗИНА
  - ОЗЕРО ДУХОВ
  - ПУТЬ ЛИ БО
  - ПИРАС (I)
  - ЧАТВИН, БРОДЯГА
  - ПИРАС (II)
  - СКАЗКА ОБ АЛОЙ ТРОПЕ
  - ПОХВАЛА ТЕНИ
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54

- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98

- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142

Мариуш Вильк
Тропами северного оленя

Памяти Янека Михальского

Подлинный дом человека —
не пристанище, а Дорога,
Жизнь есть путь, который
нужно пройти пешком.

Брюс Чатвин

Гоню свои мысли к северу, за горизонт,
словно стадо оленей.

О, олени моих мыслей
— это мысли моих оленей!

ПЕРВЫЕ СЛЕДЫ

Но они считают это более счастливым уделом, чем изнурять себя работою в поле и трудиться над постройкой домов и неустанно думать, переходя от надежды к отчаянью, о своем и чужом имуществе: беспечные по отношению к людям, беспечные по отношению к божествам, они достигли самого трудного — не испытывать нужды даже в желаниях.

Тацит[1]

Впервые следы саамов — каменные лабиринты — я увидел на Соловецких островах. С их помощью нойды[2] совершали свои экстатические путешествия на тот свет.

Саамские лабиринты представляют собой каменные спирально-концентрические постройки. На Соловках их более десятка. Лабиринт — что-то вроде храма у христиан, с той лишь разницей, что у саамов туда имел доступ только шаман — нойд. Пока он пребывал в трансе, паства оставалась снаружи. За пределами лабиринта.

Выход из лабиринта был обращен к западу, к загробной жизни. Если нойду удавалось выбраться наружу (задача непростая, особенно под воздействием мухомора), то он «путешествовал» по тому свету и общался с духами. У одних спрашивал совета, других просил о помощи.

Как правило, спустя несколько часов шаман приходил в себя.

Пока он, будучи в состоянии транса, совершал свое путешествие, тело его покоилось неподалеку в кустах. Никто не смел к нему прикасаться. Вернувшись, нойд помогал людям. Одних лечил, других отправлял на тот свет. Для саамов нойд был хозяином жизни и смерти.

На Соловках по сей день верят, что если турист заблудится в лабиринте, душа его навеки останется на островах.

В свое время соловецкий археолог Александр Мартынов устраивал на Заяцких островах для своих студентов «ночи Ивана

Купалы». Брат Георгий[3] рассказывал мне, что в полночь они прыгали через костер и играли в «девичьи пляски в вавилонах».

«Вавилонами» православные называли саамские лабиринты потому, что язычники якобы загоняли туда девушку, право дефлорировать которую получал тот из мужчин, кому удавалось до нее добраться. Такой вот языческий обычай.

Некоторые ученые поймались на этот крючок, выдвинув гипотезу, будто бы северные лабиринты — «путь от девицы к женщине». Отсюда название — «девичьи пляски».

Академик Николай Виноградов в книге «Соловецкие лабиринты» писал, что каменным строениям саамов не удается найти объяснение, которое удовлетворило бы всех. Одни толкуют про девичьи пляски, другие утверждают, что это ловушки для семги, третьи предполагают, будто лабиринты — тропинки песен, с помощью которых нойды пытались перебраться в иной мир.

Что касается меня, я не склонен к однозначным выводам. Одно, как мне кажется, не подлежит сомнению: каменные лабиринты саамов — символы пути.

Во второй раз я столкнулся со следами саамов на Кузовах — островах в Белом море, между Кемью и Соловками. Это самый крупный на Севере храм сейд-камней.[4] Впервые мы попали туда с Василем на яхте «Антур», в разгар белых ночей. С одной стороны залива, между Немецким и Русским Кузовом, таяло над самой поверхностью воды расплавленное солнце, напротив наливалась светом луна. Пахло березовыми почками. Душераздирающе — как всегда в эту пору — кричали птицы. Едва мы бросили якорь, Василь принялся варить борщ. А я, не желая мешать сему колдовскому обряду, направился к северной стене Немецкого Кузова. Это самый высокий остров Белого моря. На его мощном гранитном склоне, крутыми террасами спускающемся к водяной кипени, стоят, словно на ступенях храма, священные камни саамов. Духи великих нойдов.

Стоят и словно глядят на север.

Потом мы бывали там еще много раз. В последний — сразу после смерти Редактора.[5] На Кузовах как раз полыхало бабье лето. Мох сделался особенно мягким, ягоды покраснели, словно покрылись стыдливым румянцем, а березы казались золотыми. Я присел на одной из верхних террас. Под ногами, далеко внизу бурлило Белое море, взбивая пену на овальных гранитных камнях. В ушах все звучал голос Брата:[6] «Только что умер твой старец из Мезон-Лаффита». Звучал отчетливо, словно Брат стоял за спиной… Я обернулся. За мной был сейд-камень. Потом я сообразил, что видел его в другом месте.

В своих северных скитаниях я еще не раз встречал священные камни. И в Заонежье, и на Терском берегу. Год назад в Вегоруксе саамский камень показали нам две девушки, из местных — они только что вышли из воды и всю дорогу отжимали волосы.

В последний раз сейд-камни я видел неделю назад на берегу священного озера саамов Сейдъявр[7] на Кольском полуострове. Вечером мы сидели с Наташей[8] возле палатки, у костра, на северном берегу озера у подножья горы Куйвачорр (то есть у самого подножья Куйвы, хозяина этих мест). За спиной у нас медленно заходило солнце, подсвечивая Нинчурт, Тавайок и Маннепахк. Над разделяющими их долинами и ущельями подымался туман. Позади несколько дней изматывающего маршрута, назавтра — возвращение в Ревду через перевал Эльморайок. В общем, мы сидели и угощались вином да соленым сигом. В какой-то момент выглянул из тумана Нинчурт — словно воспарил. Издалека гора напоминала две мощные груди Земли. Каждую венчал священный камень.

Потом были Бесовы Следки под Беломорском и сам Бес с огромным членом — саамские петроглифы, возраст которых насчитывает семь тысяч лет, — на гранитных плитах острова в устье реки Выг, у самого Белого моря. Мы с Василем видели их, когда шли по Беломорканалу на «Антуре». Васю впечатлил член Беса, меня — его следы.

В трехстах верстах отсюда — Бесов Нос. Знаменитая галерея наскальных рисунков периода раннего неолита. Великая саамская летопись-палимпсест, более тысячи петроглифов, высеченных в красноватом граните. Зачастую одни поверх других.

Удивительная книга!

Профессор Надежда Лобанова[9] из Петрозаводска утверждает, что карельские петроглифы — уникальное собрание охотничьего наскального искусства эпохи неолита. Мы познакомились на Бесовом Носе летом 1999 года. С неба изливался жар. Полный штиль. Онего мы пересекли — вширь, от Брусно до Беса, — не подымая паруса, на моторе.

Под Бесом стоял на рейде «Эколог» — экспедиционный катер Карельской академии наук. Мы бросили якорь у самого Носа. На мысе крутились какие-то люди, командовала ими невысокая дама в шортах. Это и была Надежда Валентиновна. Поначалу она отнеслась к нам недоверчиво, приняв за туристов — местное бедствие (они мусорят и разжигают на петроглифах костры). Польский акцент говорил не в нашу пользу. Лишь когда Надежда увидала на яхте книгу Владислава Равдоникаса[10] «Наскальные изображения Онежского озера и Белого моря» 1936 года, лед был сломлен.

С тех пор мы и дружим. Надя научила меня читать наскальные саамские письмена: где нужно смочить скалу водой, чтобы рисунок проявился, где — воспользоваться черной пленкой, чтобы свет падал косо, где — зеркало поставить. Не одну ночь мы провели в ее тесной квартирке в Петрозаводске, на улице Анохина, за разговорами о каменном веке и нынешних временах, об археологах и их книгах.

Надя многое рассказала мне об арктическом палеолите и о технике обработки каменных орудий; узнал я и о том, какую цену заплатили ученые за раскапывание чужих могил: Равдоникас спился и умер, всеми забытый, Линевский[11] окончил свои дни в сумасшедшем доме… В конце концов я сам задумался — подобно Чатвину[12] в «Тропах песен»: не тяготеет ли над археологией какое-то проклятие?

Несколько дней назад Надя подарила мне удлиненный камень, который сразу удобно лег в ладонь. Я почувствовал исходящее от него тепло. Волну энергии.

— Это тесло с Бесова Носа. Эпоха раннего неолита. Вот этим они и выбивали рисунки на скале. Возможно, делали записи?.. Можешь считать, что держишь вечное перо. Долото из коричневого кварца.

— Интересно, сумел бы Генри Миллер написать таким пером свою «Черную весну»?

— Жизни не хватит.

Слово «кварц» восходит к древнеславянскому «кварды», то есть «твердый» — это двуокись кремния, обычный кристаллический минерал. Сегодня его используют для производства стекла. В природе он встречается в разных видах — от прозрачного горного хрусталя до синеватых аметистов. Бывает и темно-коричневым (дымчатый кварц). Древние римляне делали из горного хрусталя линзы.

Возраст высеченных кварцевым долотом петроглифов на скалах Бесова Носа — более семи тысяч лет.

Такое долото — инструмент универсальный: им можно и ладью из сосны вытесать, и зверя убить, и тушу освежевать, и врага отогнать, а в свободные минуты выдалбливать на скалах рисунки. Зачем? Гипотез много.

Александр Линевский видел в петроглифах символы охотничьей, промысловой магии, Равдоникас — символы Солнца и ладьи умерших, а Лаушкин[13] связал изображения на Бесовом Носе с «Калевалой». Одна Лобанова не стала фантазировать. Надежда Валентиновна копирует петроглифы и постоянно открывает новые. Тем летом на Залавруге она обнаружила под

скопированными еще в 1936 году Равдоникасом рисунками двести пятьдесят более старых петроглифов. Позднейшие изображения наложились на них, как палимпсест, и потому до сих пор оставались незамеченными. Наде удалось их увидеть благодаря норвежскому методу. Раньше его на Залавруге не использовали.

Укрывшись черной светонепроницаемой пленкой, словно палаткой, нужно постепенно приподнимать один край, тогда дневной свет — вне зависимости от погоды — будет падать на скалу с петроглифами косо, словно на закате. Это новейший метод прочтения саамских петроглифов.

Я, однако, предпочитаю читать их по старинке. Так, как смотрели на свои рисунки сами саамы. При низком солнце.

Мне часто вспоминается тот вечер на берегу Онего. Надя со студентами отправилась на «Эколог» ужинать. Мы остались на Носе. Местные привезли нам малосольного лосося, на камбузе нашлась бутылка красного вина, и за трапезой мы дождались минуты, когда солнце начало садиться. На том берегу, примерно на уровне Оленьих островов.

Вот тогда они и предстали передо мной во всей красе! Косые лучи солнца высвечивали на сверкающем граните рисунки — поочередно, один за другим — по мере того, как солнечный прожектор медленно передвигался вдоль горизонта. Константин Лаушкин назвал этот спектакль кинематографом каменного века. Я бы сказал — японский театр теней. Каждая деталь монументальной каменной композиции казалась словно бы тенью изображения. Как будто сами рисунки находились где-то выше — может, в сознании их автора? А может, на Небесах?

Сколько же времени понадобилось художникам неолита, чтобы добиться такого эффекта? Сперва долгие наблюдения за движением солнца, его изменчивыми, в зависимости от времени года, траекториями, потом тяжкий труд с долотом в руках. Чтобы спустя тысячи лет молчания мы наконец услышали их голос.

Вопрос: зачем?

Воспользовавшись библиотекой и советами Надежды, я стал рыться в книгах о саамах, пытаясь понять, откуда они тут взялись. И обнаружил, что хотя о саамах писали много — как, пожалуй, ни об одном другом северном племени, — они и по сей день остаются наиболее загадочным народом Европы. Ведь самые горячие дискуссии разгорались именно вокруг проблемы их происхождения.

Первым попытался докопаться до корней саамов шведский натуралист и врач Карл фон Линней. Создатель знаменитой

классификации животного и растительного мира в молодости много путешествовал по северным рубежам Европы, причем посетил и тамошних кочевников (известна гравюра меццо-тинто, [14] изображающая ученого в саамском костюме с ритуальным бубном у пояса), после чего написал книгу «Iter Lapponicum», [15] в которой, правда, не разрешил вопрос о происхождении лапландцев (саамов), но по крайней мере высказал мнение, что они не имеют ничего общего с другими северными народами.

Спор продолжился в XIX столетии. Начали его сторонники «азиатской теории», во главу угла ставившие внешний вид современных саамов: низкий рост, цвет кожи, черты лица. Одни, подобно немецкому антропологу Иоганну Фридриху Блуменбаху, [16] относили их к монголоидной расе (вместе с финно-угорскими и палеоазиатскими племенами), другие доказывали, что саамы перекочевали в северную Европу из алтайских долин Центральной Азии, а третьи и вовсе отказывали им в самобытности, утверждая, что это просто отколовшиеся от племени самоеды. Затем пришло время теорий европейского происхождения саамов — размышлений об их связях с древними лигурами и с альпийскими племенами. В дискуссии приняли участие самые разные специалисты — археологи, этнографы и лингвисты, так что новые концепции появлялись, словно грибы после дождя. Одни археологи доказывали, что северные кочевники прибыли из междуречья Оки и Волги, другие твердили: ничего подобного — из долин Дордонь и Везер. Этнографы ломали копья по поводу того, к кому ближе саамы — к хакасам или к гуцулам. А лингвисты выискивали в их наречии сходство с диалектами баскского, финского, юкагирского языков. Время от времени возникали идеи и вовсе фантастические. К примеру, одна из гипотез гласила, будто саамы являются потомками народа, проживавшего на Севере еще до схода ледника и укрывшегося в какой-то теплой пещере. В конечном счете ни одна из сторон не взяла верх, и споры о происхождении саамов продолжаются по сей день.

Для меня наиболее убедительна версия о европейских корнях саамов (в частности, мнение профессора Захария Ефимовича Чернякова, [17] патриарха советской саамистики), согласно которой в период верхнего палеолита (называемого также эпохой северных оленей) огромные пространства Европы — от Пиренеев до Урала — вдоль южной границы ледника населяли охотники на оленей. О них напоминают великолепные наскальные полотна в пещерах Испании и Франции (Альтамира, Ласко), а также останки человека в пещере Кро-Маньон. С потеплением климата (конец эпохи Мадлен) ледник начал пятиться на север, следом

потянулись олени, а за оленями двинулись охотники. Так что не прав был Херберт, написавший в книге «Варвар в саду», будто «человек остался один, покинутый животными и богами». Европу в это время населяли аграрные племена из бассейна Средиземного моря — оставшиеся охотники были вытеснены ими в горы (поэтому саамов часто сравнивают с басками) или полностью ассимилированы.

Примерно в IX или VIII тысячелетии до нашей эры (мнения расходятся) охотники за оленями встретили на своем пути к северу естественное препятствие — огромные карельские озера: Ладожское и Онежское. Часть племен проникла дальше, постепенно заселив Кольский полуостров и северные территории Скандинавии, прочие надолго осели здесь. К этому периоду относятся древнейшие следы человека на этих землях: могильник на Оленьем острове и наскальные изображения на Бесовом Носе. Ученые также предполагают, что именно тут люди предприняли первые попытки приручить оленя. Доказательство тому — изображения лыжников (древнейшие в мире!) среди онежских петроглифов: ведь, как утверждает Роберто Боси, охотиться на оленей без лыж можно, а вот пасти стада — нет. Я же обратил внимание на изображение лучника — ведь с луком можно охотиться и в одиночку…[18]

И только одно не давало мне покоя. Ведь если согласиться, что создателями карельских петроглифов были потомки художников эпохи Мадлен, то чем объяснить очевидную примитивность их стиля по сравнению с «полотнами» Альтамиры или Ласко? Схематичные контуры лебедей, человечки, словно бы высеченные неумелой детской рукой, фигурки оленей, нанесенные на скалу будто бы походя. Где же великолепный реализм искусства верхнего палеолита? Чем объяснить этот регресс: условиями жизни, твердостью породы, другим освещением? Может быть — просто разучились?

Ответ я нашел в книге Збигнева Флорчака «Искусство прерывает молчание». Оказывается, так называемый «кризис» случился не здесь, на Севере, а еще в пещерах Пиренеев. «Так называемый», потому что на самом деле просто изменилась функция наскальных рисунков и петроглифов. Теперь речь шла не об эстетике, а об обмене информацией.

Фигуру заменили символ и знак. «За счет утраты некоторых форм красоты, — предполагает Флорчак, — человек приблизился к изобретению письма, без которого невозможно дальнейшее развитие цивилизации».

Другими словами, может быть, и саамы рисовали не красоты ради, а пытались что-то записать на скалах Бесова Носа. Остается

вопрос: зачем? Хотели сохранить какую-то информацию или же передать ее кому-то другому? Порой о том же я спрашиваю и себя.

— Ну, а чем объяснить монголоидные черты некоторых скелетов из могильника на Оленьем острове? — спрашивает Надежда, слушая мой рассказ о выводах Флорчака. — Как соотнести этот факт с кроманьонцами?

Надежда — археолог-материалист, ее убеждают только результаты раскопок: глиняные черепки, обломки костей, каменные орудия. Теориям, плодам праздных раздумий искусствоведа, она не доверяет. Надежда предпочитает задавать вопросы, а не отвечать. Она осторожна, а потому не ошибается. Часто подталкивает к дальнейшим размышлениям.

— Что ж, и на этот вопрос у Флорчака есть ответ. Около пятнадцати тысяч лет назад на юге Франции в долине реки Везер, прежде населенной кроманьонцами, появились новые племена, которые Флорчак, кстати, называет охотниками на оленей. Это были шанселадцы (по названию местности Шанселад, где, в частности, выкопали останки древнего человека). Реконструкция скелета, произведенная доктором Лео Тестю, позволила понять, как выглядели люди из этих племен. Вот послушай: «Охотники на оленей напоминали сегодняшних эскимосов и монголов. Низкорослые, коренастые, большеголовые. Череп, имеющий правильную форму, превосходил по объему наш — тысяча семьсот кубических сантиметров. Выпуклый лоб, мощные надбровные дуги, выступающие скулы, квадратная челюсть, прямой нос. Рост шанселадца не превышал одного метра шестидесяти сантиметров, так что по сравнению с кроманьонцем он казался карликом». Точь-в-точь тот тип из могильника на Оленьем острове, о котором ты рассказывала. Дальше Флорчак пишет, что, по всей видимости, произошло скрещивание кроманьонцев с шанселадцами, и на протяжении пяти тысяч лет они жили вместе, создавая шедевры эпохи Мадлен, после чего вместе ушли на север вслед за оленями. Стоит также добавить, что в могилах шанселадцев находили загадочные «волшебные палочки» неизвестного происхождения. А ведь это просто-напросто палочки от шаманских бубнов, которыми еще недавно пользовались саамские нойды.

Судя по выражению ее лица, Надежду я не убедил, хотя она и не нашла что возразить. Большинство наших бесед кончается одинаково, но для меня они очень важны. Благодаря Наде я открыл для себя «эпоху молчания» человека. Прежде я пребывал в тени написанного слова, и мой временной горизонт очерчивали

древнейшие памятники письменности. Теперь я поглаживаю ладонью тесло из кварца и прислушиваюсь к голосу огня.

Да что там… В последнее время мне все чаще случается смотреть на сегодняшний мир со стороны, словно бы глазами охотника на оленей верхнего палеолита. А восторги по поводу достижений цивилизации значат для меня не больше, чем глухое урчание пещерного брата, радовавшегося изобретению лука.

Сегодня в Карелии нет ни оленей, ни саамов. Олени начали мигрировать дальше на север во II тысячелетии до нашей эры в результате очередного потепления климата, саамы же исчезли отсюда в середине прошлого тысячелетия, вытесненные или полностью ассимилированные финно-угорскими племенами и христианской Русью. Эхо конфликтов между аборигенами Карелии и новыми поселенцами можно обнаружить в рунах «Калевалы», записанных Элиасом Лённротом[19] в XIX веке, а также в текстах православных миссионеров. Например, Лазарь Муромский,[20] основатель одного из крупнейших монастырей на берегу Онежского озера близ Бесова Носа, жаловался в своем «Житии» на богомерзких язычников-людоедов, осыпавших его камнями и угрожавших съесть! Сегодня память о карельских саамах хранят только топонимы.

Вот так этот древнейший народ Европы во второй раз почти бесследно исчез с территорий, которые населял на протяжении тысячелетий. Хорошенькое memento для современных европейцев, не правда ли? В наши дни, когда так ратуют за сохранение корней европейской цивилизации и остерегаются пришельцев из других частей света, стоило бы повнимательнее приглядеться к этому забытому племени. Тем более, что саамы ведь не совсем исчезли с лица земли, подобно этрускам или полабским славянам, — они сохранили язык, традиции и обычаи, просто отступили назад, к самым северным рубежам Европы. Можно сказать, древние охотники на оленей использовали ву-вей[21] задолго до китайских даоистов.

Поэтому я решил отправиться по следам саамов на Кольский полуостров, где они до сих пор в небольшом количестве проживают. Хочу увидеть, как они пережили беды XX века — индустриализацию, лагеря и колхозы — и как адаптируются сегодня к постсоветской эпохе одичалого потребительства, набегов орд новых русских и заграничных туристов. Ведь дальше идти уже некуда. Дальше на север — только Ледовитый океан.

Интересно, по-прежнему ли они считают себя счастливыми и ничего не боятся — как описывал их греческий историк в начале нашей эры… Это первый след саамов в литературе. Цитата из

Тацита[22] послужит мне в пути своеобразным виатикумом.[23]

Выходя на тропу саамов, я ничего заранее не планирую. Быть может, тропа уведет меня за пределы настоящего времени, зараженного фанатизмом или капиталом. Возможно, я встречу на ней мудрого оленя и увижу в его глазах отражение самого себя тысячелетней давности? А может, следуя по ней, доберусь до Крайнего Севера? Туда, где кончается земля людей и начинается пустота. Важен ведь Путь, а не цель.

Конда, осень 2005

ЗИМА В ЛОВОЗЕРЕ

4 января 2006

Ни в одном словаре польского языка я не нашел слова «renina», то есть «мясо оленя» (от польского слова «ren» — «северный олень»). Набрел, правда, на некий «фермент, вырабатываемый особыми клетками в стенках артериол почечных клубочков» (от латинского «ren» — «почка»), но он — как мне кажется — не имеет ничего общего с нежным, сочным оленьим мясом. Польскому языку вкус оленины неведом.

— Вы когда-нибудь пробовали сырую оленину? — спросила Оля Артиева, принеся нам тушу молодой важенки.[24] — Еще вчера по тундре бегала. Попробуйте — объедение.

И действительно, это не мясо, а сама жизнь! Олени питаются экологически чистым кормом — ягелем (оленьим мхом), цветами морошки, золотым корнем, водорослями, грибами, яйцами куропаток, а порой и птенцами — поэтому сырую оленину можно есть без всяких опасений. Никакой химии! Никакой генной инженерии!

Более того, сырое мясо только что убитого оленя, а также оленья кровь, в которых масса витаминов и микроэлементов, с древности успешно предохраняли жителей Севера от цинги. Сырое мясо ели во время шаманских обрядов, охотничьих ритуалов и просто из обжорства. Во время мясопуста оленью кровь добавляли в тесто для блинов.

Оленину мы закупили на всю зиму. Тридцать четыре кило мяса с костями по сто рублей за килограмм. Наташа четвертовала тушу. Несколько ломтей я посыпал солью. Мы умяли их с клюквой. Мясо плотное. Вкус словами не передать.

И еще одно. Наши пращуры верили, что к человеку переходит сила того, кого он съедает. Причем речь шла не столько о физической мощи, сколько о крепости духа. Отсюда обрядовое поедание тотемных животных.

6 января

На диалекте ловозерских саамов обрядовое поедание

жертвенного оленя называется лыхте-верра. Обряд этот долго хранили в тайне, и лишь в конце 1830-х годов ловозерский саам Иван Фефелов поведал о нем этнографу Николаю Волкову.[25] До революции Фефелов был нойдом и обряд поедания жертвенного оленя знал не понаслышке. Вот как он выглядит.

Сначала нойду снились олени. После пробуждения он созывал саамов и рассказывал, как выглядели олени в его сне — какой они были масти, с какими рогами. Каждый саам распознавал своего оленя и отделял его от стада. С этой минуты животные, предназначенные в жертву, окружались особым вниманием: их не заставляли работать, не разрешали трогать, а за кражу такого оленя грозила смерть.

Обычно в марте мужчины вместе с жертвенными оленями отправлялись в указанное нойдом место. Там они ставили две куваксы:[26] одну для нойда и тех, кто должен был убивать и свежевать животных, другую — для прочих участников обряда. Сперва те, кому предстояло совершать ритуальный забой, раздевались догола и, поливая друг друга, обмывались отваром ольховой коры. Согласно саамским верованиям, ольха обладает очищающей силой. Затем они облачались в специальные, украшенные магическими узорами одеяния.

Оленя оглушали палкой и убивали ударом ножа в сердце. Его кровью саамы намазывали свое тело, шкуру снимали осторожно, стараясь не делать лишних надрезов — только по одному на животе и на ногах. Голову отделяли от туши и укладывали рядом со шкурой. Из ивовых прутьев сплетали скелет, натягивали на него шкуру и прилаживали голову так, чтобы чучело оленя смотрело на восток.

Затем мясо варили, отделяли от костей и съедали. Язык делили между всеми участниками обряда. Во время еды следовало остерегаться, чтобы сок из мяса не капнул на подбородок или на одежду. Если такое случалось, нойд вытирал это место клоком шерсти с пеплом. После завершения ритуального пира саамы окропляли кости отваром ольховой коры, закапывали их рядом с чучелом оленя и ложились спать. Нойд же еще долго пел в ночи, прося у духа оленя побольше стад и удачи для всего племени.

Обряд повторяли, каждый день съедая по оленю. Обычно это занимало от двенадцати до двадцати четырех дней.

Рассказ Фефелова Волков записал и включил в свою монографию о саамах. К сожалению, в 1947 году ученый был арестован. Он получил десять лет за «антисоветскую агитацию» и умер в лагере в 1953 году. Книга Волкова «Российские саамы» была опубликована лишь в 1996 году.

11 января

Хм… Мне кажется, Иван Фефелов рассказал Волкову не все. А может, и вообще нафантазировал? Трудно поверить, чтобы настоящий нойд посвятил русского в таинства саамских обрядов. Многие исследователи Севера говорили о том, что саамы обычно скрывали свои языческие святыни от посторонних. Чем же объяснить откровенность Фефелова? Неужели несколько лет большевистской власти на Кольском полуострове настолько изменили саамские традиции — уходящие корнями в каменный век, — что старик-нойд счел обряды предков пережитком, диковинкой, которой можно поделиться с собирателем фольклора?

Ничего подобного! В книге Владимира Чарнолуского[27] «Легенда об олене-человеке» (1965) я нашел упоминание об интригующем факте. В 1925 году в саамском поселении Йоканга группа стариков, встревоженных уменьшением поголовья животных, собиралась тайно совершить обряд поедания жертвенного оленя. Их планы нарушил сосланный в Йокангу соловецкий монах. Он пригрозил донести на саамов, если те примутся за свое языческое колдовство. Так что ни православные миссионеры, ни большевистские агитаторы не сумели искоренить древние саамские обряды. Они лишь загнали их в подполье.

Примечательно, что этот факт автор книги спрятал в одной из сносок, словно намеревался протащить его в свет петитом. Быть может, будучи учеником саамов, он не желал акцентировать тайные обряды? А может, сдержанности научил его каргопольский лагерь?

12 января

Чарнолуский заслуживает отдельного рассказа. Тем более, что ученому не повезло ни с исследователями его тропы, ни с ее продолжателями. Даже временная дистанция не помогла. Значительная часть наследия Чарнолуского по сей день покоится в архивах. Чарнолуский был не только выдающимся этнографом и специалистом по саамам, он также фотографировал, рисовал,

писал. Словом, следов оставил немало. Увы, никто не воспользовался ими, чтобы пойти дальше.

Чарнолуский родился в 1894 году в Петербурге. Отец работал в издательстве «Знание», мать писала книги для детей. Володя с детских лет мечтал о путешествиях. С завистью читал о полярных экспедициях Фритьофа Нансена, Руала Амундсена. В 1914 году Чарнолуский закончил коммерческое училище. Собирался поступать в Академию художеств, брал уроки рисунка и живописи. Планы юноши нарушила Первая мировая война. Чарнолуский добровольцем пошел на фронт, дослужился до командира пулеметной роты. В 1921–1926 годах учился в Географическом институте в Петрограде, зарабатывая на жизнь как придется — ночным сторожем, портовым рабочим… Дипломной работой Чарнолуского стала карта самоедских кочевых троп на Канин Носе.

Однако истинным его призванием оказалось изучение земли саамов — Кольского полуострова. Впервые Чарнолуский отправился туда еще студентом. «Я хотел почувствовать эту землю собственными ногами, — вспоминал он спустя годы, — увидеть собственными глазами, собственными ушами услышать предания саамского прошлого». Где пешком, где на лодке, он обошел всю советскую Лапландию с севера на юг: от Йоканги на берегу Баренцева моря до Важуги на берегу Белого. Помогал саамам при отеле оленей, собирал гербарий, чтобы исследовать их корм, записывал саамские сказки, учил язык. Уже тогда Чарнолуский заметил, что саамы неохотно рассказывают о своих верованиях. В ответ на расспросы о сейд-камнях отшучиваются или сердятся. В конце концов ученый догадался, что по иным тропам саамской тундры можно пройти лишь в одиночку.

За десять лет (1927–1938) Чарнолуский исходил Кольский полуостров вдоль и поперек. Знание саамского языка позволяло ему легко вступать в разговоры с местными жителями. В Лумбовском погосте[28] Чарнолуский сблизился со стариком-саамом, который многому его научил. Например, что кровь не любит показываться на свет божий — подобно тому, как земля не любит обнажать свою черноту. Иначе говоря, не стоит сдирать с земли ее зеленый покров — это может плохо кончиться.

В другой раз Ефим Андреевич сказал: олени — вся наша жизнь. Мы едим их мясо и носим одежду из их шкур, простеганных их сухожилиями, их шкурой укрываемся во сне, из их костей делаем орудия труда, их жиром освещаем куваксы. На оленях ездим и оленям поем свои песни! Мы только выглядим по-разному, а кочуем по тундре одинаково. Как же нам не быть оленями? Сам подумай — убивая оленя, я переливаю его кровь в

свою. Его мясом живу. Мои дети существуют благодаря мне, а я — благодаря оленю. Значит, мы братья по крови. Мы — люди-олени.

Согласно саамским легендам, своим братством с оленями саамы обязаны Мяндашу, тотемному прапредку, наполовину человеку — наполовину оленю. Матерью его была Матреха, старуха-нойд. Однажды, когда ей наскучило человеческое обличье, она превратилась в важенку и забеременела от оленя. Перед родами Матреха вернулась в женское тело и родила белого оленя с черной головой и золотыми рогами. Это и был Мяндаш. Имя его восходит к саамскому «m'janna» («бархат» — нежная, покрытая пушистым волосом кожа на растущих оленьих рогах). Матреха выкормила Мяндаша своим молоком, поэтому он умел обращаться в человека. В саамской мифологии Мяндаш занимал особое место. Чарнолуский предполагал, что некогда существовал целый посвященный ему эпос, который со временем распался на отдельные песни, а те постепенно превратились в сказки. Этнограф собирал их по крохам, надеясь воссоздать саамский эпос, как Лённрот — «Калевалу».

Именно во славу Мяндаша, — утверждал Чарнолуский, — совершался обряд поедания жертвенного оленя. При этом автор «Легенды об олене-человеке» описывает процедуру лыхте-верра несколько иначе, чем Волков. Он пишет, что кожу оленя не натягивали на ивовый скелет, а клали на землю, на правой половине укладывали кости так, как они расположены в теле животного, после чего закрывали левой половиной, так, что казалось, будто олень просто спит. Само поедание тела жертвенного оленя ученый сравнивает со святым причастием у христиан.

В 1930 году вышла книга Чарнолуского «Материалы по быту лопарей. Опыт определения кочевого состояния лопарей восточной части Кольского полуострова». Этот труд, удивительным образом сочетающий эрудицию автора и его опыт, по сей день не имеет себе равных в российской саамистике.

Чарнолуский помогал саамам в 1930-е годы — в тяжкий период коллективизации.

В 1938 году он попал в лагерь. После освобождения в 1943 был направлен в трудармию. Некоторое время работал пастухом в подмосковном совхозе Снегири. После окончания войны, как и в молодости, Чарнолуский сменил много профессий. Например, иллюстрировал книги. На Кольский полуостров — в качестве ученого — ему довелось вернуться лишь в 1961 году. Последние десять лет жизни его оказались на редкость плодотворными. Чарнолуский издал собрание саамских сказок, много писал. Умер

он в 1969 году.

Книга Чарнолуского «В краю летучего камня» вышла посмертно — это этнографичекие записки, перемежаемые сказками саамов, — своего рода завершение его саамской тропы. Она может научить многому. Взять хотя бы эпизод, где Чарнолуский вспоминает Илью, сопровождавшего его в одной из экспедиций и удивлявшегося, что Владимир все расспрашивает о лыхте-верра, в то время как старики-саамы утверждают, будто он уже знает больше них. «Что мне было сказать в ответ, — писал Чарнолуский в конце жизни, — если я до сих пор не вполне понимаю сущность этого обряда».

Общаясь с саамами, Владимир Владимирович осознал, что есть вещи, о которых не говорят. В том числе — вера. Писатель не сомневался, что саамы по-прежнему помнят о своих древних верованиях. Просто скрывают это от посторонних. Надо отбросить собственные суеверия, стереотипы и книжные знания, отнестись к тайне саамов с почтением и дать ей самой проникнуть в тебя.

14 января

Несколько дней назад, просматривая в местной библиотеке старую подшивку журнала «Северные просторы» в поисках материалов о Чарнолуском, я наткнулся на интервью с известным советским диссидентом Померанцем.[29] Меня поразило, что они с Чарнолуским сидели в одном лагере, только Григорий Соломонович — несколькими годами позже. Именно в Каргопольлаге Померанц открыл для себя магию Севера.

Друзья смеялись над ним — вокруг, мол, бараки да колючая проволока, а он, точно Ромео на Джульетту, влюбленно смотрит на северное сияние. Померанц знал, что побудка на рассвете, что он снова не выспится, но продолжал, словно зачарованный белоснежной мелодией Севера, допоздна бродить по зоне, прячась от дежурных. Стояло лето. Белые ночи тлели и все не кончались, точно вечная лампадка на алтаре.

Сравните яркие южные цвета, — туманящие взор и рассеивающие внимание, — с прозрачной палитрой северных красок, которые не привлекают внимание и позволяют взгляду устремиться вдаль. Примерно такое же различие между западной живописью, любующейся изображением на полотне, и православной иконой — окном в иной мир. Неудивительно, что анахореты искали уединения на севере. Они искали пустоты.

— Пустота Севера, — утверждает Померанц (кстати, знаток восточных религий), — это живой образ целого. Поэтому теперь, когда люди в потребительском изобилии предметов, жратвы или сенсаций ощущают потерянность, так важна внутренняя сосредоточенность, какую дает наблюдение пустоты в природе. Природа всегда целостна, распад привносит цивилизация. Так называемый исторический прогресс ведет к разрушению прагармонии и духовно калечит современного человека. Лишь в уцелевших архаических культурах сохранилось это ощущение единства.

Так что, возможно, имеет смысл пойти против течения и вернуться к истокам?

17 января

В понедельник 17 января 1927 года около полудня в ловозерский погост прибывает Лопарская экспедиция (лопарями русские называли саамов) под руководством профессора Д. А. Золотарева.[30] Впереди едет молодой саам, проводник. К его высоким самоедским саням, запряженным четверкой оленей, привязаны олени, которые тянут сани с Давидом Алексеевичем. Чуть позади — тройка оленей и сани с еще двумя участниками экспедиции — врачом Ивановым-Дятловым и этнографом Чарнолуским. Сто десять верст от железнодорожной станции в Пулозере путешественники преодолели за восемнадцать часов. Сегодня этот путь на машине занимает полтора часа.

Ученые остановились в доме богатого коми-ижемца,[31] где их угостили строганиной — мороженой олениной, настругаННой тоненькими, почти прозрачными ломтиками. Оленья туша оттаивала на Крещение.[32]

Лопарская экспедиция Золотарева была первой научной экспедицией на Кольский полуостров со времен революции и вообще первым предприятием такого масштаба за всю историю исследования региона. Что касается информации о кольских саамах, ни одна из более поздних экспедиций не добилась подобных результатов. За четыре месяца ученые проехали полторы тысячи верст по бездорожью тундры на оленьих упряжках, посетили саамские погосты, сфотографировали и собрали уникальные предметы быта — одежду, утварь, орудия труда, — составили карты, записали сказки, песни и саамские пословицы, а также произвели антропометрические измерения

более трехсот саамов. Каждый из участников собрал богатейший материал по своей специальности и впоследствии написал книгу. Интересующихся экспедицией как таковой отсылаю к первоисточникам. Меня же занимает прежде всего ловозерский погост. Каким его увидели и описали участники этой экспедиии почти восемьдесят лет назад?

Владимира Чарнолуского поразил плоский ландшафт с беспорядочно разбросанными домами. На огромной равнине сразу обращал на себя внимание особняк богача Рочева, первого коми-ижемца, в конце XIX века перебравшегося на Кольский полуостров с Печоры. А саамские тупы[33] настолько поврастали в землю, что два десятка дымков поднимались… из-под снега. На севере сизая даль, на юге — хребет Ловозерских тундр,[34] словно припорошенная снежком буханка хлеба. И — всё. Даже солнца не видно! Его появления ожидали на следующий день.

Профессор Золотарев отметил, что церковь и горсточка избушек, среди которых выделялись двухэтажные дома коми-ижемцев, напоминали грязную кляксу на листе белой бумаги. В отличие от Чарнолуского, Давид Алексеевич утверждал, что небо было безоблачным, и участники экспедиции любовались северным солнцем, золотившим снег. Так как же обстояло дело?

(Выглядываю в окно. На горизонте из морозного тумана выстреливает вертикально вверх мощный сполох. Однако самого солнца нам сегодня не увидеть!)

Наиболее точен Иванов-Дятлов. Его описание сразу выдает руку врача. О солнце, правда, ни слова, зато Ловозеро предстает перед нами как живое. Поселение расположено на совершенно плоской и голой болотистой равнине, по обоим берегам Вирмы, двумя километрами ниже впадающей в Ловозеро. Правый берег реки заняли саамы и ненцы. Избы и тупы стоят там параллельно реке, в два ряда, фасадами друг к другу, образуя что-то вроде улицы. Среди плохоньких избушек выделяется дом богача Николая Юрьева. Это единственный настоящий дом, принадлежащий сааму. В каждом дворе, позади жилого помещения, на расстоянии пары саженей от него, стоит на сваях небольшой склад для хранения продуктов, упряжи и домашней утвари. Рядом — кое-как сколоченный из досок овин. Только в четырех хозяйствах есть уборные, остальные жители справляют нужду в кусты. Овечий навоз и человеческие нечистоты выплескивают на берег Вирмы, а весенние воды смывают все это в озеро. Левый берег, принадлежащий коми-ижемцам, выглядел немного чище. Дома здесь, хоть и поставлены хаотично, большие (до пяти-шести комнат), крыши добротные, крашеные, есть уборные и бани, на задах разбиты огороды. Иванов-Дятлов, врач,

возмущался, что во время весеннего половодья жители ловозерского погоста берут воду практически из грязных луж.

Ловозеро, как и другие саамские погосты того времени, было типичным зимовьем кочевников — поселением, куда те съезжались на период с ноября по май. От прочих зимовий оно отличалось тем, что одновременно выполняло функцию центра Лопарской волости, объединявшей девять подобных поселений, разбросанных по территории площадью двадцать пять тысяч гектаров, на которых проживали тысяча триста один человек, в том числе пятьсот десять саамов (согласно переписи населения 1926 года).[35] Итак, кроме саамских туп и коми-ижемских домов, участники Лопарской экспедиции обнаружили в Ловозере административный центр и несколько зданий общественного назначения: школу с интернатом и избой-читальней, фельдшерский и ветеринарный пункт, фабрику замши, кооператив, а также метеостанцию. Ну и, разумеется, толпы народу. Как и в давние времена, на Крещение в Ловозеро стягивался народ со всей волости.

В то время как внешний облик поселения за последние годы претерпел некоторые изменения, — записывает профессор Золотарев, — большинство обычаев кочевников совершенно не переменилось. Например, празднование Крещения с традиционной ярмаркой. Вот почему столько пьяных шаталось по улице в предвкушении праздника.

18 января

Сегодня после долгой полярной ночи наконец выглянуло из-за горизонта солнце! Я наблюдал это своими глазами — окна моей ловозерской квартиры выходят на юг, то есть туда, откуда, согласно саамской легенде, олени приносят на рогах солнечное божество. И погода благоприятствовала: на небе в последние дни ни облачка! Так что не прав Золотарев, который якобы видел солнце над Ловозером 17 января, как не прав и Чарнолуский, зафиксировавший его лишь 20 января. Возможно, их ввели в заблуждение облака, а может, подвела память. Интересно, у скольких еще авторов я обнаружу подобные неточности? Именно поэтому я предпочитаю все проверить сам — прежде чем переносить на бумагу.

Зрелище действительно волшебное. К горизонту уже несколько дней подступало свечение, казалось, нас вот-вот

захлестнет этим сиянием. Потом оно отступало — бледнело и темнело. И вот сегодня — взрыв золотистого света, выплескивающегося на землю. Это продолжалось около четверти часа, может, чуть дольше. После чего все медленно скрылось за Вавнбедом.[36] Если бы не круги перед глазами и выступившие слезы, я бы подумал, что это сон.

Впервые в жизни я оказался свидетелем возвращения солнца из зимнего небытия. Ловозеро лежит в полутора сотнях верст за Полярным крутом. Мы приехали сюда в конце декабря, когда ночи бесконечны, а день напоминает узенькую полоску света за сценой, над которой кто-то второпях начал было подымать занавес, но потом опомнился — рано! — и поскорее опустил обратно. Теперь я понимаю культ Пейве, саамского бога солнца, и смысл его знаков на шаманском бубне. А еще я понял, почему зимой олени упорно движутся к югу — по направлению к этой щелке света.

О, сегодня я сам пережил эту атавистическую радость. Словно опрокинул натощак кружку света.

19 января

На Крещение мороз ударил нешуточный. На улице Советской, главном проспекте Ловозера, жалкие березки закутались в великолепные дохи из инея. На голове чугунного Ленина — пушистая снежная шапка. Ни нарядных оленей, ни разодетых девок, которыми восхищались участники экспедиции 1927 года. Ни ярмарки, ни гонок на упряжках, ни купаний в проруби. Торопливо пробегают ловозеряне — поскорее бы добраться до тепла. В окнах голубоватое телевизионное зарево. Странно, что традиции Крещения, которые были живы здесь даже при коммунизме, бесследно исчезли, как только православие снова оказалось в чести. Словно ветром сдуло. Быть может, его вытеснили духи нойдов, пробужденные шаманскими бубнами Якова Яковлева? А может, новые веяния?

Да что тут говорить… Со времен экспедиции Золотарева Ловозеро изменилось до неузнаваемости. Взять хоть саму дорогу: тогда — бездорожье и сугробы оленям по холку, сегодня — прямое как стрела, расчищенное шоссе, по обочинам — военные базы (благодаря им трассу регулярно чистят), напоминающие поселения инопланетян. Или вид издали: в те годы — горсточка разбросанных по тундре туп, сегодня — бесчисленные блочные

дома, две заводские трубы, водонапорная башня и огромная ретрансляционная мачта на горизонте. Неизменен лишь хаос, о котором вскользь упоминает Чарнолуский. Более того, он превратился в основательный кавардак.

Ведь одно дело — понаставить в тундре деревянные тупы и кожаные куваксы, которых из-под снега не видно, и совсем другое — возвести многоэтажные силикатные коробки, а между ними понатыкать гаражи из жести, конструкции из железобетона и склады из бог знает чего. Дерево и кожа гниют, так что даже если кочевники вдруг исчезнут, можно надеяться, что рано или поздно исчезнут из тундры и их следы, а вот силикат с железобетоном останутся тут на веки вечные. По краям всей этой «цивилизации» сохранились остатки прежнего быта: покосившиеся дощатые избушки, то ли дома, то ли какие-то сараи — трудно сказать, потому что они засыпаны снегом по самые крыши, никто там не зимует, и лишь кривая тропинка среди сугробов выдает человеческое присутствие.

Центр Ловозера — улицы Советская и Пионерская, на правом (некогда лопарском) берегу Вирмы. Там расположены региональная администрация и краеведческий музей, почта, районный суд и банк, а также Дом культуры (по субботам — дискотека на месте бывшего кладбища). Пекарня, столовая, газетный киоск и несколько магазинов. Здесь же два каменных чума — своего рода символ Ловозера: в одном — Центр саамской культуры, в другом — норвежская протестантская миссия. Тут живет большая часть ловозерской знати, например, Саша Кобелев. [37] Да, еще — чуть не забыл: на одном конце Советской улицы несколько лет назад возвели маленькую церковь из силикатного кирпича. На другом — по-прежнему стоит памятник Ленину.

На левом (прежде коми-ижемском) берегу Вирмы блочные дома образуют две улицы — саама Юрьева и коми-ижемца Вокуева. Первый был пастухом, во время войны воевал на Севере, управлял оленьими упряжками, а потом стал передовиком производства в тундре. Второй погиб в Афганистане. На улице Вокуева (бывшей Колхозной), недалеко от библиотеки мы сняли двухкомнатную квартиру с видом на Вавнбед. На нашем берегу — офис «Тундры» (бывший колхоз, ныне кооператив), главного экспортера оленины на Кольском полуострове. Здесь же — городская баня, бар и больница. Кладбище — чуть дальше.

Река Вирма вносит путаницу — извиваясь и петляя, нарушает индустриальную геометрию Ловозера. Согласно одной из концепций, название реки происходит от соединения двух саамских слов: «*варр'*» — «лес» и «*йогк*» — «река», то есть Лесная Река. Моя интуиция, близкая поэзии Октябрины Вороновой,[38]

подсказывает, что Вирма — «верр», то есть «кровь» по-саамски, и «ма» — «родная земля».

Сквозь меня, как сердцевина,
Как целебная струя,
Протекла речушка Вирма,
Вирма — родина моя!

Могу себе представить, что чувствовала саамская поэтесса, глядя на этот силикатный нарост, уродовавший ее землю.

* * *

— Сегодня — еще год моей жизни. С возрастом мне стало казаться, что я постепенно прикрываю ставень. Через узкие окна-бойницы мир видится более четким, чем через окна, подобные вытаращенным глазам. По мнению римского архитектора Веттия Сира, так происходит потому, что узкие окна сгущают клин света: тормозя движение атомов, они деформируют края этого светового потока, так что картинка становится более четкой, более контрастной и более впечатляющей.

— Окна кочевника — его глаза, — улыбаешься ты, — достаточно просто слегка их прикрыть.

20 января

Возможно, цель жизни — просто видеть?

Джон Грей

Кстати, о глазах… У северных охотников на оленей существовал обычай выкалывать глаза убитого зверя и закапывать их в землю. Иногда глаза предварительно вкладывали в олений желудок или поливали его содержимым — словно бы кормили перед тем, как похоронить. Исследователи утверждают, что это один из наиболее архаических обрядов культа Великой Матери.

Охотники на оленей верили, что Мать-Земля вкладывает глаза в живот женщины, важенки или другой самки, и там они уже обрастают плотью, а затем появляются на свет. Поэтому если не вернуть их Матери-Земле, глаза могут натворить бед. Например, если женщина заглянет в глаза мертвому оленю и

пожалеет его, глаза, заметив сочувствие, передадут его глазам живых оленей, и стада надолго уйдут из тундры. Уж не говоря о том, что глаза убитых оленей могут проникнуть в женское лоно.

Согласно верованиям кочевников, глаза могут жить собственной жизнью и скитаться по миру — не переставая глядеть. Этим пользовались шаманы в своих экстатических путешествиях — посылали свои глаза на поиски оленьих стад или на тот свет, в то время как сами лежали без чувств (каждый из нас переживает это во сне, во время которого глаза странствуют самостоятельно и наблюдают разные картины). Словом, в архаических верованиях Севера глаза — зачаток того, что в более поздних религиях было названо душой. В глазах сосредоточена сила духа. Смотреть — значит быть.

Анимисты полагают, что каждый камень, дерево, гора или река наделены душой. А стало быть, вся Природа молча глядит на нас. Сколько раз на северных тропах у меня возникало ощущение, будто за мной наблюдают. Будто на меня постоянно кто-то смотрит — то из чащи, то из озерной воды выглядывает, то с горы взирает. Это ощущение усиливает необыкновенная тишина северной природы. Ее безмолвие.

Мне бы и самому хотелось однажды стать «взглядом как таковым, не имеющим названия, на границе Я и не-Я».[39]

22 января

Кто-то спросит, почему я зимую в Ловозере, а не в Краснощелье, к примеру, на реке Поной? Оно не затронуто индустриализацией и к оленям ближе. Почему именно отсюда я решил протаптывать свою саамскую тропу?

Во-первых, на берегу Ловозера испокон века останавливались охотники на оленей. Обнаруженные здесь древнейшие следы человека относятся к VI тысячелетию до нашей эры. Примерно четыре тысячелетия существует ловозерская керамика (Lovozero Ware) — помимо асбеста, местные жители добавляли в глину человеческий волос и оленью шерсть. Для археологов район Ловозера — поистине Клондайк. Чего тут только не выкапывали: и топоры, и тесла из кварца, и кинжалы из кремня, и скребки из сланца, а еще светильники из горного хрусталя, гарпуны из моржового клыка, наконечники из рога лося, крючки, иглы и шила из оленьей кости, костяные фигурки. Даже янтарную подвеску обнаружили — свидетельство связей местных

кочевников с балтийскими народами. А впервые ловозерский погост упоминается в русской книге податей в 1608 году. Речь в ней идет о десяти вежах,[40] принадлежащих шестнадцати лопарям мужского пола. Женщин тогда не считали. Дань платили песцовыми шкурами.

Во-вторых, Ловозеро сегодня — столица российских саамов, имеющая собственный герб (с изображением оленя) и собственную элиту. Это центр саамской политики, саамской культуры и саамского языка. Сюда съезжаются гости на главные мероприятия в дни саамских праздников, тут проходят все посвященные саамам конференции, отсюда вещает радио на саамском языке. Здесь культивируются древние методы выпаса оленей и традиции саамских ремесел. Здесь выступает саамский коллектив песни и пляски. В местном музее собрана богатая коллекция саамского искусства. В ловозерской библиотеке есть почти вся литература о саамах. А в здешней школе народных промыслов можно под руководством мастера собственноручно выделать пару оленьих шкур и сшить из них настоящие яры,[41] выварить кости оленя и вырезать из них рукоять ножа или приготовить несколько национальных блюд из оленины. Кое-что Наташа уже опробовала.

В-третьих, Ловозеро — еще и своеобразная лаборатория: Советская власть переселила сюда кольских саамов в середине XX века, ликвидировав как «неперспективные» разбросанные по тундре небольшие погосты. Поэтому здесь, словно в пробирке, видны результаты этого эксперимента (алкоголизм, самоубийства), и можно понаблюдать — что будет дальше?

И в-четвертых: Ловозеро лежит посреди Кольского полуострова, а потому представляет собой отличный «базовый лагерь»: Ловозерские тундры — буквально в двух шагах (полтора часа на лыжах). От Хибинских тундр их отделяет Умбозеро, второе по величине местное озеро, в котором берет начало река Умба. По ней вы за несколько дней доберетесь до Белого моря, осмотрев по пути знаменитые канозерские петроглифы. В Краснощелье отсюда летает самолет, дальше можно спуститься по Поною, самой длинной из здешних рек, — посетить разбросанные по его берегам вымершие саамские погосты и поискать могилы поляков, что в 1940 году строили там аэродром. Еще из Ловозера можно вместе с пастухами отправиться на север, к Баренцеву морю.

В общем, здесь есть чем заняться.

29 января

Как я уже говорил, в Ловозеро мы приехали в конце декабря (посреди полярной ночи!), и мое знакомство с саамской столицей напоминало первые впечатления Блейка, героя фильма Джима Джармуша «Мертвец», от Дикого Запада. Я имею в виду не секс и выпивку, а стиль киноповествования — вспыхивающие во тьме кадры. Что только подчеркивала украсившая улицу Советскую иллюминация.

Сперва засияла из ловозерской тьмы роскошная новогодняя елка. Она стояла возле памятника Ленину (ни дать ни взять — саам на камне). Рядом таяли Дед Мороз и Снегурочка. Была оттепель, а скульптуры ледяные.

Потом из того же мрака показался настоящий абориген. Закутавшись в печок,[42] он шагал нам навстречу, волоча за собой длинные санки. Мы обменялись парой фраз, а Наташа нас сфотографировала. Старый саам пожаловался, что браконьеры в форме бьют в тундре оленей. Палят из «Калашниковых» наугад, с вертолетов. Русские военные базы на берегу Баренцева моря граничат с саамскими пастбищами. Ничего удивительного в том, что, имея под рукой живое мясо, армия экономит провиант.

— Ладно солдаты — хоть наедятся вволю, — бросил саам на прощание. — Хуже, когда на охоту выезжают «новые русские», — эти язык да печень вырежут, а тушу бросят.

Последние слова заглушил проезжавший мимо «Буран» — снежный скутер. На них тут носятся, как в свое время на оленях. Только олени бегали бесшумно, а «Бураны» — с ревом. Этот звук сопровождает меня с первых шагов в Ловозере. Словно гитара Нила Янга в путешествии Уильяма Блейка по Дикому Западу.

Чтобы отдохнуть от шума «Буранов», мы зашли в музей. Там было тихо и пусто. Ни души. В выставочном зале темень, за окном — тоже. Только касса светится. В моей памяти вспыхивает очередной кадр: на одной из ловозерских фотографий 1927 года мы видели деревянную церковь, на месте которой стоит теперь музей. Остальное тонуло во мраке. Мы заглянули в несколько магазинов: глаза сверкали доброжелательным любопытством — мол, надолго ли в гости? На темной улице лица, освещенные огоньками сигарет. И улыбка Ларисы Павловны, директора Центра саамской культуры, от которой мы сразу почувствовали себя своими.

30 января

Еще одно воспоминание о первых днях в Ловозере, которое хочется запечатлеть, — отсветы новогоднего камелька. В ожидании новогоднего выступления Путина по телевидению мы пекли на огне из ольховых щепок оленину и потягивали шампанское. Ольха, согласно верованиям саамов, обладает очищающей силой, шампанское у камина — после русской бани и валяния в снегу — наслаждение… Кремлевские куранты пробили полночь.

— Ющенко, небось, извиняется перед украинцами за то, что шампанское у них нынче без газа, — пошутил Иван.

Потом мы до самого утра покачивались под «ДиДюЛю»,[43] а водку закусывали «гранатовым браслетом». Это русская закуска из оленины, названная по рассказу Александра Куприна. Соленое мясо оленя с гранатом.

3 февраля

Александр Кобелев — президент Saami Council,[44] союза саамов всего мира — Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Иначе говоря, Саша — президент Сапми: так называется по-саамски территория на северной оконечности Европы, на протяжении тысячелетий населяемая саамами. Президент Сапми избирается раз в два года.

Наш с Сашей разговор начинается с обсуждения языка, ведь без языка нет смысла говорить о будущем саамов. Проблема в том, что по сей день кольские саамы практически не имеют собственной письменности. Попытки создать ее на основе латиницы в 1930-е годы закончились сталинскими лагерями, а о сегодняшних опытах с кириллицей, которыми, в частности, занимается Александра Антонова,[45] автор саамского алфавита, пока еще трудно говорить всерьез.

— Самое интересное, — смеется Саша, — что Александра Андреевна в свое время была учительницей русского языка в ловозерской школе, и если замечала, что мы болтаем по-саамски, лупила по рукам.

Именно советская школа, преподавание в которой велось по-русски, виной тому, что большинство кольских саамов забыло свой язык. При царизме можно было просто не отдавать ребенка в школу, да, собственно, и школ никаких не было — разве что церковно-приходские, куда все равно никто не ходил, поскольку

дети вместе с родителями кочевали по тундре. А когда Советская власть ввела обязательное среднее образование, в Ловозере выстроили интернат для школьников, оторвав детей сразу и от родителей, и от родного языка. Теперь, когда наконец спохватились, что без языка нет нации, оказалось, что одни лишь старики еще что-то помнят.

Однако пытаться сохранить это без письменности — все равно что черпать воду сетью.

— Вот представь себе, что твои соотечественники вдруг забудут польский и перейдут на английский. Но ведь они в любой момент смогут вернуться назад, поскольку их язык запечатлен в литературе. А нам как быть?

Второй вопрос — саамская кровь, то есть происхождение. Ведь еще совсем недавно быть саамом считалось стыдно. Саамы оказались на Кольском полуострове гражданами низшего сорта — «хуже» русских, украинцев, евреев и коми-ижемцев. Поэтому у кого была возможность, тот вписывал в паспорт другую национальность. Парадокс в том, что когда в российских паспортах ликвидировали рубрику «национальность», быть саамом вдруг сделалось выгодно. Именно в это время заговорили о правах аборигенов Севера, установились контакты со скандинавскими саамами, хлынул поток долларов и грантов.

— Да что там говорить, один браконьер, к примеру, — вспоминает Саша, — украинец из Апатитов, захотел стать саамом — нам полагаются льготы на разрешение на охоту.

Так что возникла проблема: по каким критериям определять, кто саам, а кто — нет. Это очень важно, если серьезно подходить к идее создания саамского парламента. Его нет только в России. В Финляндии саамский парламент действует с 1973 года, в Норвегии — с 1989, в Швеции — с 1993. Для формирования парламента саамов в России необходимо сначала решить, кто вправе его создавать и кто — быть его членом. Другими словами, следует провести перепись российских саамов… За основу был принят критерий крови: хотя бы один из родителей должен быть саамом.

— Впрочем, все мы тут друг дружку знаем и знаем, кто есть кто. Проблема только в законодательстве.

Самый болезненный вопрос — саамская земля. Уж очень многие на нее претендуют — начиная с российской армии и добывающей промышленности и кончая новыми русскими и туристическим бизнесом. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, как мало жизненного пространства осталось у саамов Кольского полуострова. Их выгнали с побережья Баренцева моря, где они веками охотились на тюленей — теперь там база атомных

подводных лодок. Вытеснили с северо-запада, выстроив «закрытые» города Никель и Заполярный. Железная дорога отрезала их от озера Имандра — для саамов оно, как Байкал для бурятов. Наконец, Мончегорском засрали тундру Монче,[46] а Апатитами — Хибины. Теперь саамов выживают с восточной части Кольского полуострова. Лучшие места для ловли северного лосося на Поное взяли в аренду американцы — на двадцать пять лет. Иоканьгу заняли новые русские. А недавно шведская фирма «Булиден» собралась на реке Вороньей, близ Ловозера, добывать открытым способом золото. Тогда пришел бы конец и оленям, и кольским саамам. К счастью, на сей раз саамы вовремя спохватились, подняли шум, добились поддержки, и шведы отступили. Но это не значит, что не появится кто-нибудь еще. До тех пор, пока из саамской земли есть что выжать, существование на ней саамов поставлено под угрозу.

Отсюда даже ягель на Запад вывозят. По несколько сот тонн сухого оленьего мха в год. Знаешь, зачем?

— Понятия не имею.

— Могилы украшать!

Пауза. Саша задумался, а я переваривал его слова. Получилась мрачная, но очень точная метафора Европы, обкладывающей свои трупы животворной травой оленей, которые служили источником жизни для праевропейцев.

— Сегодняшние европейцы, — Саша посмотрел на меня, словно читая мои мысли, — сперва выстроят дом, а уж потом задумаются, что под ним росло. Место под строительство выбирают, руководствуясь исключительно собственной выгодой, о земле не заботятся. А для нас земля — это святое.

Поэтому, чтобы спасти саамскую землю от экологического варварства, надо действовать. Речь идет вовсе не о том, чтобы оторвать Кольский полуостров от русской «матери», в чем кое-кто подозревает саамов, надо лишь добиться, чтобы саамы — коренное население этих территорий — сообща хозяйствовали на своей земле. То есть имели решающее право голоса в вопросах землепользования. Как, например, канадские инуиты[47] в Нунавуте. Но мурманская Дума до сих пор не приняла закон о коренном населении. Возражают коми-ижемцы — у них свои интересы.

Тут Саша делает небольшое отступление и рассказывает о том, какую роль в истории кольских саамов сыграл граф Витте. В конце XIX века русские собирались выстроить на Баренцевом море порт (сегодняшний Мурманск), связав его железной дорогой с остальной территорией. Осуществление этих грандиозных планов затрагивало малонаселенные территории, к тому же не

русские. Сергей Витте предвидел, что в далеком будущем это чревато проблемами. Поэтому он поддержал переселение коми-ижемцев с Печоры на Кольский полуостров, заранее подготовив почву для конфликта двух малых народов, а России отвел в этом споре роль третейского судьи.

Но это же абсурд, — возмутился я, выслушав Сашу, — чтобы люди, появившиеся здесь чуть более сотни лет назад, претендовали на право называться аборигенами.

И тем не менее это факт.

При этом коми-ижемцы ввели здесь свои методы выпаса оленей, подходящие для бескрайней Большеземельской тундры, [48] но убийственные для ограниченных пастбищ Кольского полуострова. Испокон века когда наступало лето, саамы пускали стада пастись самостоятельно, благодаря чему олени не вытаптывали корм до голой земли, а лишь пощипывали его, мигрируя небольшими группами. На таком выпасе бизнес не сделаешь, это скорее способ выжить, нежели заработать на жизнь. А коми-ижемцы круглый год держат огромные стада под присмотром пастухов, и пока олени не съедят корм на одном месте, на новое их не перегоняют.

— Они просто разводят оленей, а мы благодаря оленям существует. Если олени вымрут, то и нам конец.

5 февраля

Не успели оглянуться, как доели важенку. А думали, хватит на всю зиму! Наташа шутит: мы, мол — оленинозависимые. Что-то в этом есть…

Посмотрите, что едят олени — они любят растения, которые другое животное в рот не возьмет. Например, калужницу, лютик. Некоторые содержат алкалоиды. Подозреваю (хотя в литературе об этом нет ни слова), что олени, любители грибов, порой лакомятся мухоморами. Ну, и ягель… Где-то я вычитал, что в фармацевтической промышленности его используют для производства антибиотиков. Ничего удивительного, что приправленная таким образом оленина может воздействовать на человеческий организм. Все равно что паштет из индийской конопли.

Короче говоря, мы подсели на оленину, как на иглу. Никогда в жизни я не ел столько мяса. Раньше я вообще предпочитал вегетарианскую еду, а мясо употреблял только по праздникам.

Кто бы мог подумать, что его можно есть постоянно? Но подчеркиваю — речь идет только об оленине! К свинине или говядине мое отношение не изменилось, по сравнению с ними мясо оленя — поистине плоть. Понимаете?

Я не удивляюсь древним охотникам на оленей, которые, когда ледник стал отступать из Европы, двинулись вслед за оленями к северу — вместо того, чтобы радоваться: тепло, в лесах полно другой живности, а в озерах — вдоволь рыбы. Они тоже были оленинозависимые.

Оленину можно готовить по-разному. Сушить, варить, тушить, печь и жарить. Одно из моих любимых блюд — саамский лимм, густой отвар из оленины, в который добавляют щепотку ржаной муки и несколько стаканов тертых ягод — лучше всего морошки. Лимм имеет мясной, сладковато-винный вкус. Сначала из него вылавливают мясцо, а потом запивают бульоном. Еще я люблю филе, тушенное в вине с изюмом, студень из оленьих ног, ребрышки на гриле, язык под кислым соусом, шпик с горчицей, сердце под хреном.

Из прекрасной книги Юрия Симченко «Культура охотников на оленей северной Евразии» я узнал, что в прошлом житель Севера, чтобы обеспечить себе нужное для этой географической широты количество калорий, должен был съедать двадцать пять оленей в год. Так что мы без лишних церемоний купили у Олиного дяди очередную тушу. На сей раз это хирвас, трехлетний бык. Сорок восемь килограммов живого веса. Вкуснятина.

* * *

Из книги Симченко я выписываю статистику, над которой стоит задуматься. По мнению специалистов, арктический район Евразии, от Скандинавии до Чукотки, в прошлом мог прокормить от двух с половиной до трех миллионов оленей. В этом случае ежегодный прирост поголовья составляет не более двухсот десяти тысяч оленей. Другими словами, три миллиона оленей в древнейшие времена могли прокормить не более восьми с половиной тысяч охотников. Симченко подчеркнул, что число несколько завышено, поскольку он рассматривает идеальные условия и не учитывает волков.

6 февраля

Сегодня все саамы празднуют День саама, учрежденный в память о первом саамском собрании в 1917 году в норвежском городе Тронхейм. В Ловозере празднества начались с поднятия саамского флага.

В центре флага — шаманский бубен. Цвета соответствуют четырем стихиям: синий — вода, желтый — солнце, зеленый — земля, красный — огонь. Красно-синий круг посередине символизирует также солнце и луну.

Ровно в четыре часа дня флаг торжественно внесли в концертный зал Центра саамской культуры. Чум трещал по швам. Масса гостей. Стоя спели саамский гимн (стихотворение Исака Сабы),[49] заканчивающийся призывом вернуть саамскую землю саамам.

Потом прозвучали торжественные речи о целостности саамского народа, вопреки разделяющим его границам. Поздравили юбиляров. Василия Галкина[50] провозгласили саамом года. Новобрачным раздали подарки и каждую пару обвязали арканом (по древнему обычаю!), пожелав молодоженам долгой совместной жизни. Объявили, что за последний год в Ловозере родилось восемь новых саамов. Ура!

Художественную часть открыла Эльвира Галкина,[51] которую некоторые сравнивают с Джоан Баэз.[52] В детстве Эльвира много времени проводила с дедом на берегу Сейдъявра, священного озера саамов, где слыхала и бубны предков, и зов тундры. Отсюда в ее песнях столько природных звуков: то кукушка кукует, то ветер в сухом тростнике потрескивает, то снег скрипит да метель завывает, и поверх всего — трепет бубна.

Чум кружится. Эльвира шаманит. Остаток вечера я провел словно во сне, в котором бубны будоражили кровь, а ноги сами пускались в пляс. Лица chynely ко мне, словно со стен пещеры, глаза глядели, точно со дна колодца. Мелькнул высохший от мороза Аскольд Бажанов,[53] первый саамский поэт. Словно шепнул:

> Если тебе тяжело,
> Останавливаешься в Пути,
> Помни:
> Ты хозяин тундры,
> А не кривой хаты.

Что, уже банкет? На столах дымится оленина, сверкают рюмки с водкой. Напротив сидит Иван Матрехин,[54] только что представивший песни нового диска «Белый олень». Рядом

Александр Степаненко, автор книги «Расстрелянная семья (исторические очерки о кольских саамах)».

Тосты. Танцы.

Вдруг кто-то подсаживается ко мне. Украдкой смотрю на руки. Они трясутся словно в лихорадке. Не попадают вилкой по куску мяса — промахиваются раз, другой. Наконец, пальцы бросают вилку и тянутся к тарелке, хватают, тащат в рот. Невольно провожаю их взглядом и краем глаза вижу покрасневшее от натуги саамское лицо. Женщина лет тридцати. Жует, опустив голову, уставившись в полную рюмку. Я отвожу глаза.

Уходя, я увидел ее снова. Женщина танцевала, опустив веки. Посреди зала, одна.

12 февраля

Название журнала — «Северные просторы» — говорит само за себя. «Просторы» по-польски — «przestworze», но в словаре Дорошевского это слово почему-то помечено как «книжное». Неужто современный польский язык настолько отвык от свободного пространства, что даже само слово убрали на полку?

В последнем номере я обнаружил интересные размышления историка Николая Плужникова о современном кочевничестве. Автор предполагает, что на Севере — когда государственная власть ослабит свои тиски и сюда придет рынок — местные жители вернутся к прежнему образу жизни, то есть снова выйдут на кочевые тропы. Ведь законы рынка, — по мнению Плужникова, — действуют только применительно к оседлым народам, для которых накопление материальных ценностей — вопрос комфорта и престижа. Тех, у кого дорога в крови, избыток вещей лишь обременяет. Ведь кочевники, — продолжает Плужников, — в зависимости от времени года оставляют в тундре те или иные предметы, в данный момент не нужные. Превыше всего кочевник ценит свободу перемещения.

Я проверяю гипотезу Николая Плужникова собственными наблюдениями. В свое время Советская власть начала процесс принудительного закрепления кочевников Кольского полуострова. Сперва их коллективизировали, а затем переселили в Ловозеро, ликвидировав старые саамские погосты. Одни, как, например, Вороний, затопили при строительстве гидроэлектростанции в 1966 году, другие отдали армии.

Разрушен оказался не только традиционный образ жизни саамов, но и их духовный мир. Ведь кочевые тропы — подобно тропам песни — проходили через сакральные места: священные камни, озера, горы. Взамен кочевники получили подачки цивилизации и социальную мишуру: квартиры в блочных домах да ревущие «Бураны», школу, уничтожавшую их язык, больницу, в которой не лечили, да круглосуточные магазины с водкой. Подачка создает раба, — гласит эскимосская пословица, — а кнут — пса.

Возьмем, к примеру, квартиру. На первый взгляд, это означает горячую воду, газ и теплую уборную. Плужников пишет, что раньше кочевники, вынужденные по каким-то причинам жить оседло, время от времени переносили свой чум — хотя бы на пару метров — чтобы «освежить воздух». Они чувствовали, как мысли и эмоции, пережитые в одном месте, сгущаются и образуют осадок, который постепенно начинает оказывать психическое давление, вызывает раздражение и провоцирует семейные ссоры. Но ведь силикатный блок не перенесешь. Ничего удивительного, что саамы лезли в петлю.

Наибольшая волна самоубийств прокатилась по Ловозеру в 1960-е годы, когда сюда переселяли саамов из Чудзьявра, Варзина и Вороньего погоста. О тех временах жители Ловозера до сих пор говорят с ужасом.

— У себя в тундре саам из Варзина или из Вороньего был полноправным хозяином, а здесь оказался парией, последним из последних — даже для местной бедноты. Что им оставалось — алкоголь да петля. Старики-кочевники убивали себя сами и уходили в иной мир.

Читая Плужникова, я думаю, действительно ли зов дороги — в крови? Вернется ли новое поколение саамов в тундру или же, облапошенное потребительством, телевидением и горячей водой, отречется от свободы?

18 февраля

Мясоедение есть завороженность в действии.

Паскаль Киньяр

Киньяр пишет об атавистической завороженности глаза, который стремится поглотить все полюбившееся. Я уже давно наблюдаю эту кровавую любовь. В Ловозере идет зимний забой оленей.

Картина ничуть не напоминает традиционную love story. С

утра до вечера — остервенелый лай собак, грызущихся за окровавленные кишки, повсюду полосы сукровицы на снегу, на санях — освежеванные туши. Однако больше всего меня поражают олени, безмолвно ожидающие заклания. В очереди за смертью они стоят так тихо, что порой почти сливаются с пейзажем.

Вчера в одном дворе видел я такую сцену: на снегу, напоминавшем кровавую кашу, мужчина свежевал оленя, рядом пес рвал белые потроха — то ли легкие, то ли мозг, а у забора стоял живой олень, молчаливо взирая на все это.

Интересно, — подумал я, — в обоих ли направлениях действует очарованность, о которой пишет Паскаль Киньяр? То есть, любят ли того, кого хотят съесть?

19 февраля

У меня из головы все не идет один из сюжетов нашего разговора с Сашей Кобелевым. С некоторых пор я спрашиваю себя — а существует ли на самом деле саамский язык?

В прошлом году, будучи в Петрозаводске, я навестил профессора Георгия Керта,[55] патриарха финно-угорской лингвистики. За рюмкой армянского коньяка, который мы закусывали черным хлебом с красной икрой, беседа велась о саамах, которым Керт посвятил большую часть жизни, и Дмитрии Бубрихе,[56] его наставнике. Именно Дмитрий Владимирович поставил когда-то под сомнение сам факт существования саамского языка, утверждая, что у саамов что ни река или долина, то новый диалект — чем дальше один от другого, тем меньше между ними общего; поэтому говорить можно лишь о саамских наречиях, а никак не о саамском языке.

Как утверждает Керт, раскрыв тайну языка саамов, мы получим ключ к разгадке их генезиса и одновременно к объяснению начала истории европейского Севера. Считается, что саамский язык относится к финно-угорской семье, но в его лексике исследователи обнаружили также слова индоевропейского и индоиранского происхождения, а этимология одной трети слов вообще непонятна. Это как раз лексика, связанная с природой, животным миром и частями человеческого тела, то есть, предположительно, наиболее древняя. Вот почему некоторые ученые считают саамский язык одним из праязыков мира.

Профессор Керт исследует речь кольских саамов уже много лет. Он принимал участие во многих лингвистических экспедициях, записывал отдельные диалекты (кильдинский, нотозерский, иоканьгский и бабинский), анализировал и сравнивал. И, наконец, на базе кильдинского диалекта (на котором говорят, в частности, ловозерские саамы) создал главный труд своей жизни — книгу «Саамский язык». Во введении Керт поясняет, что у саамов нет литературного языка, а следовательно (с точки зрения лингвистики), общенациональный саамский язык — фикция: реально можно говорить только о существовании наречий. Другими словами, Керт подтверждает теорию своего учителя.

Сегодня ученики Керта из Германии, Элизабет Шеллер и Михаэль Ристлер, предпринимают очередную попытку «возрождения языка саамов и передачи его молодому поколению». Начали они с того, что открыли в Ловозере «office» и привезли компьютер с принтером. И, разумеется, принялись изучать саамский язык.

23 февраля

Если принять точку зрения Бубриха и Керта, то мы не вправе говорить и о едином саамском народе. Подтверждение тому я не раз находил в работах по этнографии. В свое время Чарнолуский, а теперь московский профессор Т. В. Лукьянченко делят саамов на группы (горные, лесные, береговые и кольские) и подгруппы, подчеркивая, что каждая из них имеет четко выраженные этнографические отличия. Так что, возможно, мы имеем дело не столько с одним народом (племенем), сколько с первобытными родами, которые на протяжении тысячелетий жили обособленно на огромных территориях?

Чем дольше я об этом размышляю, тем отчетливее осознаю, что проблема заключается, по сути, в своеобразном анахронизме саамов. Они принадлежат другой эпохе, а мы примеряем их к сегодняшнему дню. Словно не узнали собственное отражение, увидав вдруг в зеркале себя самих — какими мы были в далеком прошлом.

Вот почему, разговаривая с Сашей Кобелевым, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, восхищался его мудростью и целеустремленностью, с другой, раздумывал: есть ли смысл в сегодняшней Европе — глобальной, медленно и последовательно

нивелируемой, на наших глазах смешивающей языки и крови, — вычленять новый народ.

26 февраля

Нигде я не видал такой лазури, как здесь. Вероятно, все дело в холодном свете. Солнце ведь стоит удивительно высоко (для конца февраля) и при этом — сильный мороз. Небо прозрачное! Сквозь него проглядывает пустота Космоса. Может, поэтому некоторые утверждают, будто Север ближе к тому свету?

27 февраля

Начав писать о саамах, я столкнулся с еще одной языковой проблемой — орфографической. Наша орфография не в состоянии передать саамскую речь. Все равно как если бы кто-нибудь захотел записать человеческим языком щебетание птиц в тундре.

Даже с алфавитом никак не разберутся — все еще не окончен спор, какую азбуку использовать? Одни ратуют за латиницу, другие — за кириллицу. В 1933 году появился первый букварь кольских саамов — на основе латиницы. Его автор, профессор Черняков, аргументировал выбор латинского алфавита неприязнью кочевников ко всему русскому. К сожалению, букварь не прижился, поскольку другим предметам здесь учили по-русски, и ученики едва справлялись с одной азбукой. В 1937 году Александр Эндюковский разработал букварь на базе кириллицы. Но опять ничего не вышло: Эндюковского и его коллег вскоре расстреляли, а букварь стал одним из главных доказательств «саамского заговора».

После этого проблема алфавита не подымалась на протяжении многих лет, и лишь в 1980-е годы вышел написанный кириллицей саамский букварь Александры Антоновой. Сейчас ей немного неловко — Александра Андреевна сама призналась мне, что в нем было слишком много пропаганды. Недавно вышло переработанное издание, более современное.

Я попросил Александру Андреевну дать мне несколько уроков саамского языка, чтобы прояснить некоторые вопросы,

связанные с транскрипцией географических названий. Однако Антонова начала с того, что «саами» не склоняется — как «коми».

— Можно ли говорить о женщине «саамка»? — спросила она. — На слух получается почти «самка», а я, как ни крути, — человек.

Потом мы перешли к географии, здесь-то и начались проблемы. Оказывается, в саамской фонетике есть звуки, которые не передать ни латиницей, ни кириллицей. Например, 'h' в названии горы Куамдеспахк. Саамы используют три звука 'h' — палатальное, горловое и еще одно, настолько глубокое, что кажется, будто оно идет откуда-то от поясницы… На этом месте Антонова странно захрипела и пояснила:

— Так важенка хоркает,[57] когда рожает.

Пример Антоновой подтвердил мое убеждение, что саамская речь родом из тундры и ближе к звукам природы, чем к человеческому языку. Любая попытка ее записать — латиницей ли, кириллицей (какие диакритические знаки ни используй) — обречена на неудачу: нам никогда не передать глубину выкрика рожающей важенки.

Что же касается споров об алфавите, они разгорелись с новой силой — быть может, под влиянием российских татар, которые собираются отказаться от кириллицы. Снова пошли разговоры, что кириллица — символ оккупации, что скандинавские саамы пишут латиницей, и сегодня — в эпоху Интернета — кольские саамы должны вернуться к своим европейским корням. Молодежь смеется — это, мол, вопрос времени, надо просто дождаться, пока вымрет старшее поколение.

2 марта

Да что там — здесь спорят не только об алфавите, но и о литературном языке. Не существующем! А вернее — не существовавшем до недавних пор! В 1990 году вышел сборник стихов Октябрины Вороновой под названием «Ялла». Первая книга на саамском языке! Казалось бы — вот оно, начало саамской письменности!

Но вместо радости — скандал. Потому что Октябрина Владимировна писала свои стихи по-иоканьгски, а не по-кильдински. Ассоциация кольских саамов (одна из местных политических организаций) пыталась воспрепятствовать публикации книги, обвиняя поэтессу в профанации саамского

языка. Во властные структуры полетели письма, петиции, доносы. И хотя Воронову поддержал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, а также профессора Никита Толстой и Георгий Керт, не говоря уж о собратьях по перу, Октябрина Воронова от переживаний заболела и, не дождавшись выхода сборника, умерла. После смерти она была названа первой поэтессой кольских саамов.

Расскажу немного об Октябрине Вороновой. Она родилась в 1934 году в селении Чальмны-Варрэ[58] на берегу реки Поной. Мать поэтессы происходила из знаменитого рода саамских нойдов Матрехиных. Отец — русский. Дед — Михаил Распутин, последний священник ловозерской церкви — был расстрелян. Отец взял фамилию матери, а дочери дал революционное имя. В молодости он якобы принимал участие в штурме Зимнего дворца. Детство Октябрина провела с родителями в тундре. Мать была чум-работницей,[59] а отец — руководителем красного чума.[60] Потом Воронова училась в ловозерской школе, жила в интернате. Дальше — Ленинградский институт народов Севера, работа в библиотеке в Ревде (сейчас там музей ее имени!), первые пробы пера. Поворотным в судьбе Октябрины Вороновой стал 1975 год, когда она познакомилась с поэтом Владимиром Смирновым. Смирнов стал переводить стихи Октябрины на русский. Злые языки говорят, что он сам их и писал — по-русски: кто бы оценил их по-иоканьгски? Но даже если в этом есть доля правды, сама идея мне нравится. Этакий постсаамизм, верно?

Сегодня мнения разделились. Одни называют Воронову матерью саамской поэзии и выдвигают заумные теории о неоматриархате в литературе. Другие же посмеиваются — мол, за бабьей поэзией прячется русский мужик.

8 марта

Живя среди саамов, я начинаю понимать слова Брюса Чатвина о том, что в эпоху бездушного материализма, воцарившегося в современной Европе, единственное право, за которое следует бороться, — наше право жить в бедности. Не права человека, свобода слова или свободный рынок, а именно это основополагающее право на пространство, где можно быть нищим и не стыдиться.

Я вспомнил об этом сегодня утром, зайдя в магазин. Оборванный саам, стоявший в очереди передо мной, покупал

дешевые сигареты и хлеб, а потом попросил огромную кисть винограда — полтора кило, сто восемьдесят рублей (более шести долларов). Не может быть, подумал я, чтобы пастух был гурманом. И точно — виноград он презентовал прелестной продавщице, пожелав ей здоровья в Женский день. Многие ли состоятельные граждане способны на подобный жест?

9 марта

По эту сторону Полярного круга мир видится немного иначе, чем по ту. К примеру, вся эта шумиха вокруг птичьего гриппа кажется очередным реалити-шоу в стиле старого доброго Хичкока. С приходом весны птицы отправились на север, и теперь на телевидении самая горячая новость — грипп. Рейтинги растут. Репортажи с места событий, с зараженных территорий: штурмовые отряды в белых халатах, жертвенные костры (гекатомба кур и гусей), слезы крупным планом (рыдают мелкие производители птицы). Ни дать ни взять сообщения с линии фронта. Ну и политики, куда ж без них… Жириновский вот требует выставить на южных рубежах страны военные кордоны и перебить прилетных птиц — всех до единой!

Глядя на все это отсюда, я вспоминаю хороший и печальный фильм Перрена, Клюзо и Деба «Птицы». Сцены, в которых перелетные птицы гибнут в сернистых испарениях, в мазуте, под гусеницами комбайнов — в общем, от рук человека… Глядя на эти кадры пару лет назад, я подумал, что рано или поздно они нам отомстят. И вот время пришло.

Не хочу гадать, действительно ли вирус птичьего гриппа настолько угрожает человечеству, как пугают СМИ, или это в большей степени способ продвинуть на рынок новые лекарства, а может, новый метод борьбы с конкурентами по производству птицы. Как бы там ни было, одно можно сказать наверняка: люди все больше опасаются живой природы. Которую сами же и загадили! Сегодня это птицы, завтра — рыбы, комары или клещи… Достаточно СМИ кинуть клич — и глобальный homo sapiens в панике начнет защищаться от природы.

Я выглядываю в окно. Скоро прилетят птицы. По дороге им следует остерегаться пятен мазута, сернистых испарений, ружей охотников и санитарных кордонов.

— Удачи вам, братья-птицы!

18 марта

— Секрет кустарных промыслов — в кончиках пальцев, — говорит Анастасия Елисеевна, гуру саамской вышивки, а я все пытаюсь припомнить, где слышал похожую фразу. — Разные девушки ко мне приходят учиться. Есть более способные, есть — менее. Но случаются такие, которые с первого урока вышивают как по писанному. Сразу видно, их пальцы сами вспоминают древнее ремесло. Не знаю, может, гены, а может, и материя подсказывает им, как действовать. Ведь наши ладони тысячелетиями выделывали кожи, обрабатывали кость и сплетали сухожилия. Порой только коснешься материала — и память возвращается.

Как и вся жизнь саамов, их кустарные промыслы связаны с оленем. Он дает основные материалы для работы: кожу, рога и кость. В зависимости от продукции, саамские художественные промыслы подразделяются на твердые (из рога и кости) и мягкие (из кожи и меха). Школа мягкого рукоделия — в двух шагах. Из моего окна видно маленькое деревянное здание, а рядом снежные призмы — там вылеживаются кожи недавно забитых оленей — это один из способов очищения их от шерсти. Я воспользовался случаем, чтобы поговорить со знаменитой мастерицей Анастасией Мозолевской. Мы встретились в ее классе.

О себе Анастасия Елисеевна рассказывает скупо. Из семиостровских саамов. Фамилия — от русского мужа. Самые светлые воспоминания сохранились о детстве в тундре. Летом они кочевали с оленьими стадами к Баренцеву морю, на зиму возвращались в Семиостровье. Сегодня мало кто знает, как на самом деле жили в те времена. Твердят, например, что кочевники не мылись, а Анастасия Елисеевна помнит, как мама два раза в день купала ее в деревянном корыте — «чтобы лучше росла». Или вот тараканы… Здесь все квартиры ими кишат, а в тундре никто и не подозревал об этой напасти.

— А потом?

— Коллективизация, колхоз в Варзине. Из ста двадцати семиостровских саамов погиб каждый третий. А тех, что выжили, прикончили госпоставками.

Слово «госпоставка» Елисеевна записывает мне на листочке бумаги, чтобы я лучше запомнил. Когда она говорит об этом, губы у нее дрожат. Саамов обязали сдавать государству определенное количество мяса. Последнего оленя отец забил в 1938 году.

И вскоре умер сам. Семья постепенно распалась. Мать жила в колхозе, дети — в интернатах.

В 1961 году Анастасия Елисеевна закончила Ленинградский институт народов Севера имени Герцена. Затем преподавала биологию и химию в школах Умбы, Оленегорска и Кировска. Надолго нигде не задерживалась. Может, гены предков-кочевников? Особенно летом на нее находило. Массу денег тратила на путешествия. Тем временем варзинский колхоз ликвидировали. Маму и других жителей переселили в Ловозеро. Дали квартиру, мама уговаривала ее приехать. Остепенись, — твердила, — хоть мебель купи.

— А я чувствовала, что если на меня снова накатит, я эту мебель топором изрублю.

Ловозеро Елисеевне не по душе. Ни моря, ни привычной с детства семги (здесь ловят только озерную рыбу). У них в Семиостровье говорили, что выдать девушку за ловозерского саама — все равно что важенку под нож пустить. Но только это в книге лучше не писать, а то местные живьем съедят.

— Не волнуйтесь, я пишу по-польски. Никто этого не прочтет.

Лишь выйдя на пенсию, она переселилась к матери. Тогда и занялась рукоделием. Многому научилась дома, вернее, в тундре. Там их с детских лет приучали к работе — не то что сегодня. Шатаются сопляки без дела с утра до вечера, только и зыркают, где бы «сникерс» стырить. Наверное, поэтому саамы сделались такими ленивыми.

— Думаю, это проблема не одних только саамов, — вступился я за соотечественников Анастасии Елисеевны. — В русском Заонежье, где я прожил последние четыре года, подростки тоже предпочитают пить пиво на пристани в ожидании туристов, а не трудиться. А ведь когда-то Заонежье славилось своими ремеслами. Сегодня все продается на рынке, так охота была маяться?

— Во-первых, не всё… Например, душу, которую женщина вкладывает в яры, когда шьет их вручную, ни на каком рынке не купишь. Кто знает, что больше греет мужчину в тундре — олений мех или женская энергетика? Во-вторых, художественные промыслы хранят в себе саамский дух. Взгляните на эти старинные узоры, — Елисеевна показывает мне фото своей коллекции. — Это же зашифрованные в орнаменте северные мифы. Даже если сегодня мало кто умеет прочитать эти рисунки, их сила обязательно поможет.

Сначала было непросто. Давали себя знать годы коммунистической уравниловки. Старинные узоры и навыки утеряны. Всему пришлось учиться заново. К счастью, еще живы были старые мастерицы: Прасковья Захарова, Мария Конькова, Ольга Данилова. Хуже обстояло дело с узорами. Анастасия

Елисеевна ходила по домам, просматривала старые фотографии. По фрагментам собирала. Очень помогли сонгельские саамы, вывезшие традиционную саамскую одежду в Финляндию, куда бежали во время финско-советской войны в 1938 году — благодаря им многое удалось воссоздать. В 1990 году Анастасия Мозолевская открыла курс мягкого рукоделия в ловозерском ПТУ. Это был перелом! Тремя годами позже на выставке «Art Arctica» показали первую часть саамской коллекции: одежду жениха и невесты, парадную упряжь, комплект головных уборов. С этой выставкой они объехали Швецию, Гренландию, Канаду и Аляску. Вернувшись, организовали кустарный цех «Чепас саами», то есть «Саамские мастера». Анастасия Елисеевна руководила им на протяжении десяти лет. В 2003 году вместе с Екатериной Мечкиной написала учебник «Саамское рукоделье». Еще пополнить коллекцию — и можно спокойно умирать.

— Расскажите мне, как выделывают оленью шкуру.

— Освежевав оленя, шкуру очищают от жил и жира и закапывают в снег. Снег тает, и шерсть выпадает сама. Для дубления используют древесную кору. Ольха придает коже красный оттенок, береза красит ее в коричневый цвет, ива — золотит. Кору собирают весной, когда соки только начинают кружить по стволу дерева. Сушат, измельчают, кладут в медный сосуд и заливают колодезной водой. После закипания охлаждают до температуры 25–35 градусов Цельсия. Кожу вымачивают в этом отваре полсуток. Потом специальным костяным скребком очищают от остатков жил и заливают свежим отваром еще на сутки. Затем кожу отжимают, сушат на воздухе — в тени! Как высохнет, разминают ладонями, пока она не станет эластичной, мягкой. Из такой кожи можно сшить голенища для тоборок (вид летней обуви. — М. В.), путевые мешки, ножны, кисеты и тапочки. А наши мужчины плетут из нее арканы.

— Вот тут на столе кожа розоватого оттенка. Откуда такой цвет?

— Это мое изобретение. Розовый цвет придает коже настойка сухого околоцветника морошки.

— С мехом, наверное, больше возни?

— Ну, мех бывает разный — в зависимости от возраста животного, части тела и времени года, когда снимали шкуру. Пыжик — мех месячного теленка, обычно используемый для шапок. Неблюйку сдирают с трехмесячного олененка, из нее можно шить зимнюю одежду. Выросток, шкура полугодовалого оленя, служит для производства замши высшего сорта. Постелью мы называем зимний мех взрослого животного, предназначенный на роввы (спальные мешки). Койбы снимают с ног оленя на

меховые ботинки или рукавицы. Подошвы делаем из лобаша, то есть меха со лба оленя или из щеток над копытами. Чтобы приготовить закваску для выделки меховых пластин, надо разварить печень молодого оленя и разминать руками, пока не получится однородная масса…

Ура, наконец-то вспомнил! Это у Василия Розанова я когда-то прочитал, что тайна писательства — в кончиках пальцев. Но разве писательство не сродни рукоделию? Сперва следует размять пальцами реальность (например, печень оленя) и лишь потом сшивать сюжет.

23 марта

Татьяна Леонидовна заведует отделом краеведения в местной библиотеке. Страстная энтузиастка своего дела, она с самого начала активно мне помогает. Татьяна Леонидовна считает, что иностранцу саамы расскажут больше. Потому что не раз слышала от местных старух, что они скорее унесут саамские тайны с собой в могилу, чем передадут их русским. Пару лет назад Татьяна сфотографировала в питерском Музее Арктики и Антарктики скульптуру со знаменательным названием «Тундра молчит». Эта небольшая фигурка из бронзы изображает сидящую по-турецки сгорбленную женщину (с индейскими чертами лица) — отвернувшись от зрителя, она курит трубку с длинным чубуком.

— Чем не символ? Отвернувшееся от нас лицо…

27 марта

Интересно, догадывается ли кто-нибудь из туристов, которые толпами съезжаются в Ловозеро на Праздник Севера, что этот маленький франт — саам в долгополом черном пальто — местный нойд? А еще художник и скульптор, член Союза саамских художников. Яков Яковлев.[61]

Мы познакомились в день моего приезда — Яков работал тогда художником в Центре саамской культуры. Мне представила его руководительница Центра, Лариса Павловна,[62] сообщив, что Яков оформил их чум (сделал эскизы и расписал потолок изображениями героев саамских мифов), а теперь делает

шаманские бубны для театра «Танцующие саамы», которым руководит его жена Галина. Мы обменялись всего несколькими фразами, потому что Центр готовился к спектаклю для москалей, встречающих Новый год в русской Лапландии, но Яковлев сразу пришелся мне по душе. Он был — о чудо! — открыт к общению с чужаками, что для саама редкость.

— Это не я играю на бубне, — сказал он, ударив палочкой из оленьей кости по натянутой коже, — а бубен с нами говорит. Поэтому не обращай внимания на мои удары, а вслушивайся в его звуки.

— Почему на твоем бубне нет никаких рисунков? — спросил я, вспоминая магические знаки на бубнах саамских нойдов со старых гравюр.

— Видишь ли, я делаю эти бубны для детей из нашего театра, а не для камлания.[63] Кроме того, за каждым рисунком из тех, о которых ты спрашиваешь, стоят определенные силы. Мало кто из взрослых способен с ними совладать. Всякое бывает.

— Откуда вы черпаете вдохновение для своих спектаклей? Ведь языческие традиции у саамов, кажется, давно угасли.

— Это не совсем так. Вопрос, что мы вкладываем в слово «язычество». Если принять христианскую точку зрения, согласно которой язычество есть религия первобытных людей, еще не дозревших до абстрактного понятия Бога и поэтому почитающих божков камней и животных, то не о чем говорить. Если же считать, что язычники — не идолопоклонники, а люди, неотделимые от природы, то…

— Неотделимые? — прервал я его. — Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду то, что христиане именуют душой, утверждая, что ею обладает только человек. Для нас же одухотворена вся природа. Куда ни посмотришь — отовсюду выглядывают духи: из человека, животного, дерева, реки, камня. Поэтому любой стебелек обладает силой — этим, впрочем, испокон века пользуется народная медицина. Мы почитаем природу и считаемся с ней. А главное — знаем ее! Когда на Север пришли христианские миссионеры, язычество подверглось гонениям. Прежде всего стали уничтожать наши бубны, благодаря которым мы сохраняли связь с духами предков. Потом нас погнали с кочевий, отрывая от священных мест, где из века в век копилась духовная энергия, дававшая нам силу. Наконец, принялись и за саму природу. Сегодня последствия видны невооруженным глазом — достаточно взглянуть на тундру. Короче говоря, с приходом на Север религии, которая объявила человека владыкой природы, начался процесс экспроприации.

— Ты напомнил мне одну северную легенду. Про то, что

люди — паразиты на теле Важенки-Земли, а тундра — ее шерсть. Люди — словно личинки опасного подкожного овода. Эта муха откладывает яички в шерсти оленя, а личинки затем проникают под кожу, что нередко приводит к смерти животного. Сегодня, когда в распоряжении этих паразитов имеются буровые вышки и газопроводы, чтобы высасывать из Важенки-Земли жизнь, — шансов никаких.

— Поэтому мы с Галей хотим напомнить саамам об их древних дохристианских традициях. Важенку-Землю мы этим вряд ли спасем, но хотелось бы верить, что хоть наши дети что-то поймут и благодаря этому их дети еще застанут в тундре живых важенок. В противном случае нам останутся только погремушки, — Яков вынул шаманский инструмент, сделанный из высушенного оленьего горла и потряс его.

В горле оленя что-то тихо пересыпалось. Словно в песочных часах.

28 марта

Я долго собирался навестить Якова в его мастерской и каждый раз что-то мешало. То он уехал в Швецию с выставкой, то в Норвегию на камлание к тамошним нойдам, то телефон отключен — в общем, мы никак не могли договориться. Словно кто-то испытывал меня: мол, сперва поживи здесь, посмотри нашими глазами, перезимуй, а весной поговорим. Я давно заметил, что на моей тропе все происходит в свое время, и, как бы я ни планировал, как бы ни старался, тропа сама выводит меня, куда нужно — в свой срок. Более того, оказывается, что, подчиняясь тропе, я выигрываю, а если пытаюсь перехитрить обстоятельства, то обычно попадаю впросак. Так что теперь я терпеливо осваиваю трудное искусство без-действия.

В конце концов я навестил Якова Яковлева в его мастерской. Это блочный дом по соседству, на улице Вокуева. В двухкомнатной квартире на четвертом этаже Яков устроил мастерскую и галерею, а сами они с Галиной живут в ее квартире в соседнем подъезде.

Яков принял меня в элегантном костюме из серой фланели (жилетка с золотыми пуговицами!), из кухни доносился запах только что сваренного кофе, из комнаты слышалась музыка. Цой пел о войне.

— Любишь «Кино»?[64] — спросил Яков первым делом.

— Конечно.

— Мы с Витей учились на одном курсе — в Ленинграде, в художественном реставрационно-строительном училище. Вместе ездили на раскопки, и уже тогда Цой бунтовал — вместо того, чтобы работать в поле, медитировал в кустах. Позже наши дороги разошлись, он пошел в рок, я — в скульптуру. А потом Витя разбился на машине, а я стал нойдом. Бывает, разговариваю с его духом.

Закончив училище в Ленинграде и отслужив в армии в Бурятии, Яков учился у разных мастеров в скандинавских странах, одновременно изучая северно-саамский диалект. Самые лучшие воспоминания он сохранил о Свене-Аке Рисфеле из Швеции, у которого в Вильхельмине овладевал мастерством изготовления саамских ножей, и об Оле Андерсене из Норвегии, который посвятил его в таинство скульптуры из капа (нарост на березе), из которого делается обод бубна. Оба, ясное дело, нойды. А вот с Пером Андерсеном они не поладили. Спор вышел из-за орнамента: Пер — традиционалист и для рукоятей своих ножей использует только древние геометрические узоры, Яков же, стремясь оживить традицию, вводит, например, мотив морошки. Поэтому у Пера он работал недолго — кстати, его фирма в Норвегии, занимающаяся производством саамских сувениров для туристов, недавно обанкротилась.

— Сам посуди, к чему копировать старые узоры? Их можно в музее увидеть.

Мы сидели на кухне, пили кофе и листали альбом с фотографиями работ Якова, которые уже разошлись по частным коллекциям. Особенно впечатляли фигурки чахкли[65] из капа и ножи. Костяные ножны сохранили особую форму ножа каменного века, но орнамент на них и на рукоятках был просто-таки модернистский: по-врубелевски переплетенные оленьи рога и орнамент с морошкой, которого не постыдился бы сам Бакст.

— А для меня такой нож можешь сделать?

— Пожалуйста, я как раз получил с Чукотки обломок бивня мамонта. Только как ты его через границу перевезешь?

Уж как-нибудь.

Мы перешли в большую комнату. Со стен светились полотна Якова — за окнами темнело, и в комнате царил полумрак. На огромной картине «В куваксе» огня не видно, но блеск пламени на лице нойда, облаченного в медвежью шкуру, камлающего над больным младенцем, позволял увидеть обряд словно бы с другой стороны пламени. На полотне «Коллективизация саамов» поражало солнце в правом верхнем углу — куда бегут упряжки расстрелянных пастухов-кулаков, ниже в алой заре коммунизма

движутся упряжки бедняков, а мощная фигура красноармейца в остроконечной шапке (похожей на капюшон куклуксклановца) слева кажется тенью — правда, довольно-таки зловещей.

— Так раскулачили мою семью на Кильдине в 1934 году. Выжил один отец — его спрятала дальняя родственница. Родителей отца расстреляли, а остальные пропали неведомо где. У папы было десять братьев и сестер. Если бы его тогда нашли, мы бы с тобой сегодня не говорили.

Окна второй комнаты, то есть мастерской Якова, выходят на массив Луяврурт. Вид так меня восхитил, что я не сразу заметил небольшое полотно, на котором Яковлев изобразил лежащий в ягоднике старый саамский черпак (для сбора ягод). Деревянный совок с затейливой ручкой наполовину заполнен матово-синей черникой (так и хочется попробовать), а ягодник вокруг полыхает красками бабьего лета. Живой натюрморт…

В мастерской Яковлева я почувствовал приток энергии, которой прежде мне в Ловозере не хватало. Картины и скульптуры подсказывали сюжеты, стол манил взяться за перо. Поэтому я без колебаний принял предложение Якова — после возвращения из Польши пожить у него.[66]

29 марта

В последнее время я получаю от читателей массу писем с вопросами о шаманах. Одни ищут литературу о шаманизме, другие — шаманскую силу. Первых я отсылаю к Харузину[67] и Серошевскому,[68] к Элиаде и Шиевскому,[69] вторых — посылаю к черту.

Откуда берется это стадное чувство — стремление более или менее цивилизованного человека приобщиться к сокровенным знаниям человека первобытного? Мода на экстатические полеты и галлюциногенные грибы? Повальное увлечение общением с духами? Нью-эйдж или Духовная смута? Поиски или свидетельство потерянности?

Черт с ними, с малолетками и всевозможными недоумками — этих всегда тянуло на разную дурь. Хуже, что это безумие захлестывает и ученых — этнографов, антропологов и культурологов. То и дело организуются «научные конференции» о шаманских камланиях и «исследовательские экспедиции» к шаманам Якутии или Тувы. То и дело публикуется какой-нибудь новый вздор.

Ничего удивительного, что в 2000 году президиум Российской академии наук выступил с отчаянным обращением к российскому интеллектуальному сообществу: «В настоящее время в нашей стране широко и беспрепятственно распространяются и пропагандируются псевдонаука и паранормальные верования: астрология, шаманство, оккультизм и т. д. В отечественных государственных и частных СМИ не прекращается шабаш колдунов, магов, прорицателей и пророков. Псевдонаука стремится проникнуть во все слои общества, все его институты, включая Российскую академию наук». Стоит ли удивляться?

А ведь достаточно обратиться к определению шаманизма, которое дает Харузин, пожалуй, глубже всего из российских этнографов проанализировавший генезис явления и давший очень простую формулу: «шаманизм есть овладение силами природы». Так вот, чтобы овладеть силами природы, их нужно не только понимать, но и ощущать. Как, например, летучая мышь воспринимает ультразвуки. Первобытные северные кочевники, бывшие с тундрой «на ты», сами являлись частью природы. Ничего удивительного, что они умели ею управлять. При этом следует подчеркнуть, что прежде не существовало отдельной касты шаманов, а различные функции нойда — от гадалки и жреца до посредника между миром живых и миром мертвых — выполнял глава семьи или рода. Сегодня, увы, эта первобытная связь человека с силами природы утрачена (кто знает, не навеки ли), поэтому все псевдошаманские спектакли в диковинных одеяниях, украшенных блестками и перьями, а также камлание под звуки бубнов — не более чем лапша на уши туристов за их же деньги. Если шаманизм где-то и уцелел, то уж точно не в этой сувенирной упаковке.

В моих северных скитаниях мне не раз встречались самоедские тадибеи[70] и карельские ведуны, не говоря уж о саамских нойдах. Однако ни один из них и в подметки не годится величайшему шаману, с каким свела меня жизнь, — Чеславу Милошу. Вот как старый поэт описывал свой экстатический полет:

> Мой единственный довод — сознанье.
> Окрыленное мной, оно реет
> Над людьми, надо мною
> И всей очевидностью мира.[71]

31 марта

Удивительно, сколько чепухи понаписано о саамах! Первые их следы в литературе можно найти уже в начале нашей эры — у Тацита. Римский историк называет саамов «фенни» — очевидно, сведения о них он почерпнул из древнескандинавских источников. А Прокопий Кесарийский, добавив слово «лыжи», получает «скифенни», то есть «фенни на лыжах». Павел Диакон, в свою очередь, превращает их в «скритифинов» и утверждает, будто саамы «умеют бегать на двух загнутых кусках дерева, благодаря чему способны догнать дикого зверя». Однако эти именования продержались недолго.

В литературе закрепилось лишь название «лапонцы» (от «лаппиа»). Так в начале XIII века окрестил саамов датский монах Саксон Грамматик. Происхождение этого слова не вполне ясно и по сей день. Одни связывают его с монгольским «лу-пе» (что означает «идущий на север»), доказывая тем самым, что саамы прибыли из Азии. Другие ассоциируют его с финским корнем «лап», к которому восходят как «лаппес» («изгнанник»), так и «лапу» («последняя граница» или «ведьма»). Третьи — со шведским глаголом «лопа» (то есть «бежать» или «уходить»). Каждая из этих коннотаций — словно стоп-кадр — отражает ту или иную отличительную черту саамов, которые кочевали вслед за оленями за северным солнцем, жили почти на краю мира, словно в изгнании, спасаясь от агрессивных соседей, а об их черной магии знала вся Европа. Сам Уильям Шекспир упоминает о «проделках чародейства лапландских колдунов» в одной из своих пьес.

Неудивительно, что о саамах рассказывали всевозможные сказки. И однооки-то они, и одноноги, и шерстью поросли, и собачьи головы имеют, и человеческое мясо едят, и под землей живут (или на верхушках деревьев), а зимой впадают в спячку подобно медведям. Поговаривали также, будто это и не люди вовсе, а гномы. К этим байкам приложил руку шведский священник Олаус Магнус, запечатлевший саамов в знаменитом труде «Historia de gentibus septentrionalibus»,[72] изданном в 1555 году в Риме. На долгие годы эта книга стала для европейцев важнейшим источником информации о северных кочевниках.

Немалый вклад в негативный образ саамов внесли и христианские миссионеры. Достаточно почитать соловецкий «Сад спасения» XVIII века, в котором анонимный летописец сетовал на «язычников мерзких, что живут яко звери дикие, камень почитают и Бога истинного, единого и от него посланного Иисуса Христа ни знать, ни разуметь не хотят». Можно привести еще множество примеров.

Переломным оказался 1673 год, когда во Франкфурте на латинском языке был издан фундаментальный труд профессора Иоанна Шеффера из Упсалы под названием «Лаппония». Шеффер собрал все, что было известно на тот момент о саамах, отсеял явную чепуху — правда, не избежав кое-каких ошибок и не удержавшись от фантазий. Несмотря на это, его книга по сей день остается одним из важнейших источников, если говорить о первобытных кочевниках Северной Европы.

Парадокс заключался в том, что, хотя впоследствии о саамах вышло множество книг (в частности, монография русского этнографа Николая Харузина «Русские лопари»), следы их кочевий становились все более расплывчаты.

1 апреля

Из богатой литературы о саамах больше всего я ценю рассказы очевидцев. Ведь одно дело — болтать языком и повторять чужие слова, умножая сплетни, и совсем другое — испытать самому, пережить на собственной шкуре, и лишь потом описать.

Одним из первых двинулся по следу саамов Франческо Негри из Равенны, который три года путешествовал по северной оконечности Европы (добравшись даже до Северного мыса), чтобы описать свой вояж в книге «Viaggio Settentrionale»,[73] изданной в Падуе в 1700 году. Условия жизни на Севере поразили воображение итальянского путешественника. Бесконечная земля, — писал он, — простирается здесь на более чем тысячу миль, однако люди живут без хлеба и без фруктов, ведь деревьям и зерновым нужна почва. Домашних животных, известных другим частям света, не встретить, потому что здесь нет травы для прокорма, а значит, люди не знают ни молока, ни сыра. Да что там, — сетовал Негри, — отсутствует даже виноград, который мог бы напоить людей! Словом, никакого урожая здесь не соберешь. Более того, люди не знают ни шерсти, ни льна. Нет и городов, да, собственно, и домов тоже нет. Этот край лишен буквально всего — какого бы то ни было комфорта. Одна ночь может продолжаться два месяца, и чем дальше к северу, тем дольше. Морозы столь суровы, что снег и лед покрывают всю землю и все воды сплошь на протяжении восьми месяцев. Лед не тает даже в июне, и только июль и август неподвластны зиме. В горах все лето лежат снежные шапки, а земля оттаивает лишь на два метра

вглубь. Летом воздух черен от комаров, закрывающих солнце. Таким образом, можно предположить, что человек здесь не имеет никакой возможности выжить. Однако люди здесь живут!

Страна, о которой рассказывает Негри, — бог ты мой! — Лапландия.

Больше всего меня рассмешили жалобы на отсутствие винограда. Мне тоже не хватает здесь хорошего вина.

2 апреля

Ужин у Константиновых. На закуску Влада подает сало с красным перцем и сига по-балкански, затем седло оленя в вине, а на десерт — молодые панты с виноградом. В общем, своеобразный синтез черноморской и саамской кухни.

Юлиан Константинов, профессор университета в Упсале, и его молодая ассистентка Влада — болгары. Значительную часть года они проводят в тундре. Живут в чуме близ кочевых троп. Он уже больше десяти лет изучает проблемы саамского пастушества.[74] Влада пишет работу о взаимоотношениях пастухов.

Сами же пастухи посмеиваются — мол, лучше бы описала свои отношения с «профессором Хирвасом». Так они между собой именуют Константинова.

Мы познакомились осенью прошлого года в Ревде у Ивана Вдовина.[75] Юлиан как раз вернулся из тундры и поначалу смотрел на меня косо — как матерый волк на конкурента, посягающего на его законную территорию. В советские времена Кольский полуостров был «закрытой зоной» (иностранцам не разрешалось здесь свободно передвигаться), и с тех пор единственным (кроме болгарина Юлиана) иностранцем, который путешествовал по Кольскому в 1990-е годы и описал его постсоветскую реальность, был англичанин Роджер Тук.[76] Однако после пары стопок водки лед был сломан. Константинов понял, что мой жанр ничем ему не грозит, а окончательно нас сблизила антипатия к туристам.

— Я родился на Черном море, — со смехом вспоминал Юлиан, — и с детских лет любовался телесами, жарящимися на солнце, в то время как мы, местные, все как один предпочитали тень. Турист — это такой зверь, который, где бы ни оказался, во-первых, совершенно не понимает туземцев, во-вторых — поступает всегда наоборот.

— А потому оказывается легкой добычей, — вставил я. —

Ведь настоящий охотник всегда выбирает тень.

Тогда, у Ивана, мы до утра болтали о массовом туризме, который грозит стать для Ловозера настоящим бедствием — как в Финляндии в последние годы, где Юлиан наблюдал орды японских старцев на снегоходах, а также об угрожающем номадам Духе коммерции и об оскверняемой техникой тундре. На прощание болгарин бросил, что по тундре удобнее кочевать со своим чумом, и дал нам электронный адрес одной норвежской фирмы, которая за тысячу баксов может такой выслать.

Вновь мы встретились в ловозерской библиотеке пару дней назад. Как и мы, Юлиан с Владой снимают здесь квартиру и каждую свободную от университетских занятий минуту проводят на Кольском. Мы обнялись, как старые знакомые — это, видимо, инстинкт человека, которому на краю света посчастливилось встретить себе подобных. Приглашение на ужин — из той же оперы.

Эта наша встреча оказалась содержательнее. Благодаря книгам и людям, я многое узнал о разведении оленей и был в состоянии поддерживать беседу с профессором. На стене кабинета висела огромная карта Кольской тундры с кочевыми маршрутами отдельных бригад совхоза «Тундра». Она напомнила мне карту Чарнолуского 1927 года.

— Тропы оленей неизменны, разве что путь им преградит человек, — объяснил Константинов.

Взгляды Юлиана на проблемы пастушества у саамов сильно отличаются от сложившихся стереотипов. Прежде всего, проблема коллективизации… Принято считать, что она разрушила традиционное саамское пастушество, а болгарский профессор доказывает обратное: коллективный выпас оленей не только продолжал саамские традиции, но и отвечал интересам самих пастухов. Об уроне, нанесенном коллективизацией, твердят местные и иностранные «этноактивисты» всех мастей, изобретающие фантастические проекты спасения традиций северного пастушества, не имея ни малейшего понятия о том, что на самом деле думают об этом живые носители традиций.

— Нужно не один сезон провести среди пастухов в тундре, чтобы сломить их недоверие и услышать то, о чем они предпочитают умалчивать. И лишь потом делать выводы.

Мнение профессора расходилось с тем, что ранее я слышал о коллективизации из уст Якова Яковлева, Анастасии Мозолевской или Саши Кобелева. Но Юлиан не дал мне возразить и, увлекшись собственной лекцией, продолжал:

— Чтобы понять направление развития пастушества у саамов, следует вернуться в XIX век. В литературе ошибочно

утверждается, будто миграция на Кольский полуостров коми-ижемцев с их огромными стадами в середине девяностых годов XIX века положило начало процессу вытеснения традиционного свободного выпаса оленей более эффективным ижемским и самоедским методом. Но Волков, ссылаясь на Пушкарева[77] и Чарнолуского, делал вывод, что в результате истребления пушного зверя — помимо рыбы, главного источника дохода у саамов, — многие саамские семьи уже в начале XIX века переходили на продуктивное разведение оленей. Достаточно привести статистические данные: в 1785 году на Кольском полуострове поголовье домашних оленей составляло пять тысяч, в первом десятилетии XIX века — десять тысяч, а спустя полвека — пятнадцать тысяч. Прибытие коми-ижемцев ускорило этот процесс. Накануне Первой мировой войны на Кольском полуострове поголовье оленей достигло семидесяти четырех тысяч! Эти цифры сравнимы лишь с поголовьем оленей в 1970-е и 1980-е годы, то есть в период расцвета совхозной экономики. Для сравнения добавим, что сегодня на Кольском полуострове живет около пятидесяти тысяч оленей.

— Ну хорошо, а какое отношение это имеет к коллективизации?

— Коллективизация, вопреки тому, что утверждают вышеупомянутые этноактивисты, этому процессу никак не препятствовала. Я имею в виду общую тенденцию развития саамского пастушества. Сейчас модно критиковать все, что касается коммунизма, о колхозах насочиняли множество мифов. Один из них — убеждение, будто коллективная собственность не способствует развитию экономики. А ведь на Севере любая человеческая деятельность испокон веков была коллективной. Слишком здесь суровые условия, чтобы человек мог управиться в одиночку. Примеров масса — начиная с коллективной охоты на стада диких оленей в древности и кончая поморскими рыболовными артелями… При этом во главу угла всегда ставился принцип «частного в коллективном», который ни колхозная, ни — позже — совхозная практика 1929–1992 годов никак не оспаривали. Этот феномен частного в коллективном — белое пятно в истории Кольского пастушества.

Слушая болгарского профессора, я подумал об отце Анастасии Мозолевской, который — в 1938 году, в рамках госпоставок — был вынужден забить последнего оленя, и сам ненадолго его пережил. Но Константинов и на этот раз не дал мне вставить ни слова. Внезапно сменив тему, он принялся громить местную бюрократию. Мол, чиновники и есть источник всех бед в жизни пастуха. Вокруг одного совхоза вырос

многоголовый полип — более сотни организаций-дармоедов. Вот она — главная проблема современного пастушества на Севере.

— А браконьеры? — поинтересовался я.

— Это еще одна сказка, вроде как про волков. Пастухи предпочитают не афишировать собственные аппетиты и сваливать вину на других.

— Может, наконец, сядем за стол? — вставила Влада. — Все уже остыло.

За ужином Юлиан угощал нас байками из жизни в тундре. Пока вино не зашумело в голове. К серьезным темам мы больше не возвращались.

11 апреля

Зима в Ловозере медленно подходит к концу. Солнце обнажает третируемую человеком землю. Из-под грязного снега показывается дырявый асфальт и жирная грязь, повсюду хлам после зимы: горы пустых бутылок под окнами домов, пластик, банки из-под пива, металлолом, отходы оленьих кож, обглоданные кости.[78]

Не стану скрывать — эта зима меня измучила. Дело в том, что я отвык жить среди людей. Отвык от радио за стеной и ревущих моторов за окном, от бетонных клетушек и повсеместного мата. После Соловецких островов и Конды Бережной, где природа начиналась тут же, за порогом, жизнь в центре постсоветского поселка оказалась испытанием более тяжким, чем я предполагал. Даже вид тундры на горизонте и заснеженного Луяврурта не помогают справиться с подавленным настроением — ведь прямо перед носом дымят трубы теплоцентрали, а цистерны с мазутом на глазах разъедает ржавчина. Пока все это скрывалось под покровом полярной ночи, еще можно было выдержать. Весенний свет пробудил хандру.

А в доме — бесконечный шум! Никак не привыкну. Отовсюду орет телевизор, на лестнице лают собаки, периодически дерутся за стенкой пьяные соседи. Особенно ночью невмоготу. Подсоединенные нервными окончаниями к людской толпе, мы на собственной шкуре испытали разницу между чумом и городским жилищем.

— Неудивительно, что саамы сходили тут с ума.

— Я сам ощущаю себя оленем.

Яков в разговоре со мной несколько раз с досадой повторил,

что Ловозеро — скорее резервация саамов, чем их столица. Для туриста, который приезжает сюда ненадолго — прокатиться на оленьей упряжке, полакомиться приготовленной на гриле олениной, заглянуть в музей и накупить сувениров, — это, может, и столица, и центр культуры. Но перезимуй в Ловозере — и глаза откроются.

13 апреля

Юлиан Константинов подарил мне красивую фотографию с оленями — в самый раз для обложки будущей книги. Лес рогов образует на нем удивительную воздушную тропу, постепенно тающую в бледно-голубой мгле. На переднем плане оленьи морды и глаза еще различимы, а дальше — только холки, затылки и рога, рога — тропа рогов. Но ведь достаточно окрика (выстрела!), чтобы стадо в панике разбежалось, а тропа исчезла. Словно внезапно прерванный сон.

Метафора моей книги? Разве не так я начинал эту экспедицию — полный надежд на встречу с настоящими саамами? Сначала я гонялся за деталями в поисках подтверждения прочитанному ранее — концепциям, стереотипам, бог знает чему еще. А со временем понял, что все это туманно, эфемерно и неуловимо.

14 апреля

…Чтобы лучше узнать себя, следует узнать Других.

Рышард Капущиньский

Автор «Шахиншаха» не раз повторял, что Другой — зеркало, в котором мы можем разглядеть самих себя. Более того, Капущиньский даже утверждал, что «мы не умеем определить собственную идентичность, не сопоставив себя с Другими». Для меня таким зеркалом, в которое я смотрелся всю зиму, стали саамы. Необязательно мои современники (это — скорее гибриды постсоветской эпохи), я ведь читал и о тех, древних. Я думал о них, воображал их жизнь — сделать это мне было тем проще, что я испытал на собственной шкуре и природу, и капризы климата, видел наскальные рисунки, а также то, что сохранилось от их

верований в узорах вышивки и костяных фигурах, в сказках и напевах.

Благодаря саамам я заглянул внутрь своего собственного колодца, откуда была выпущена первая охотничья стрела (говоря словами Паскаля Киньяра). Непосредственно столкнувшись с северными номадами, я задумался о своей племенной принадлежности. Категория «народа» тут не годится. «Польскость» слишком мала. Я внимательнее наблюдал их языческую веру, из которой нас выкрестили всего тысячу лет назад. Я вовсе не имею в виду охотничью магию или шаманские полеты — нет, я о той первобытной пантеистической интуиции, стоящей у истоков метафизических поисков homo sapiens (венец ее я нахожу у древних даосистов), пока ее не вытеснили дым кадила, догмы, экзорцизмы и священные книги более поздних религий.

Вне всяких сомнений, я уеду отсюда другим человеком. То есть имея другую перспективу, хронологически сдвинутую назад. Раньше круг моего мира освещало слово написанное, а теперь я обращаю внимание и на то, что сокрыто в молчании.

18 апреля

К источнику за водой для чая я хожу каждый день — четыре версты туда и обратно. В любую погоду. Потому что Путь можно практиковать с помощью каждого, даже самого мелкого действия — выполняемого ежедневно. Например, заваривания чая. Для зеленого нужна самая лучшая вода, иначе чай будет отдавать ржавчиной и химией водопровода. А что может быть лучше воды, бьющей из подземелий тундры, профильтрованной магмовыми скалами (кембрийского периода), торфом и корешками ягеля. Никакая другая с ней не сравнится.

Утренняя прогулка имеет и другие плюсы. Прежде всего можно протоптать фразу ногами, выверяя ритм крови собственным шагом. Во-вторых, если при ходьбе дышать пятками (как учит Чжуан-дзы), то голова освобождается от снов. И, в-третьих, ежедневная прогулка по одной и той же тропке позволяет наблюдать изменения на земле. Если, конечно, топаешь не по асфальту.

Вот хотя бы сегодняшняя пороша. Земля уже теплая, и снег на дороге сразу тает, только лужи затянуло тонким ледком. А прихваченная ночными заморозками тундра напоминает отлитый

из гипса барельеф. Если смотреть против солнца, кажется, что перед тобой поле ягеля, из которого, точно кустики голубики, торчат купы рыжего ёрника,[79] а пороша впитывает свет, подобно японской бумаге. По изысканности северная эстетика не уступает восточной.

19 апреля

Люби дикого лебедя.

Робинсон Джефферс

Это была удивительная встреча. Как обычно по вечерам, мы с Наташей шли на озеро. Первый километр мы стараемся пробежать, не глядя по сторонам, чтобы не видеть мерзость, царящую на окраинах: кривые сараи, жестяные гаражи по берегам Вирмы, потом огромная свалка, разбросанная ветрами по тундре на сотни метров. А дальше начинается красота, и можно замедлить шаг. Карликовые сосны, отбрасывающие длинные тени на сине-лиловый фирн,[80] справа сияет вдали белоснежный Вавнбед, слева тундра пластается до самого горизонта, и тишина такая, что внезапное карканье вороны звучит над ухом короткой автоматной очередью.

Мы шли молча.

Вдруг из этой тишины появилась в воздухе пара лебедей и, булькая о чем-то между собой, торжественно проплыла перед нашими глазами, почти на расстоянии вытянутой руки. Точно два белоснежных облака — вестники весны.

— Здравствуйте, братья-птицы! Вильком[81] на Севере!

ПИСАТЕЛЬ-КОЧЕВНИК

Ты странник, и должен каждый день продолжать путь, который и есть твоя единственная цель…

Шандор Мараи

Центральное место в моей библиотеке занимают книги писателей-кочевников. Рядом с Кеннетом Уайтом[82] (автором «Синего пути» и создателем термина «интеллектуальный номадизм») там стоят Брюс Чатвин, Клаудио Магрис,[83] Николя Бувье,[84] Чеслав Милош, Шандор Мараи[85] и еще несколько авторов. Каждый кочевал по-своему. Уайт в экстатическом полете добрался до лабрадорских шаманов; Чатвин пел сны аборигенов Австралии и блуждал по бездорожью Патагонии; Магрис прошел Дунай — от истоков до дельты, — миновав не одну границу, а позже очертил круг от кафе «Сан Марко» до Городского сада, вписав в этот круг не одну жизнь; Бувье исходил полмира — от Балкан до Японии — раз за разом исследуя Пустоту; Милош — путник мира — целый мир для путника; но Мараи? Многие, наверное, удивятся, что я упомянул его в этой компании.

Что же может связывать с кочевниками потомка оседлого аристократического рода (более того — создателя идеи вневременной аристократии), городского жителя и завсегдатая кафе (Мараи утверждал, что история совершается на площадях, а не на полях)? Разве можно автора, которому одна только цивилизация давала чувство защищенности, а описание пейзажа говорило больше, нежели сам пейзаж, ставить на одну полку с бродягами, уподоблявшимися в пути застиранному полотенцу (которое им подавали в борделях) и с первого шага определявшими ритм, который медленно приоткрывал мир? И тем не менее!

В случае Мараи это вопрос языка. Потому что язык — таково мое глубокое убеждение — своего рода племенная память, в которой закодирован как опыт исторический языковой общности, так и ее атавизмы, мечты и сны. Более того, в языке каждого племени живет Дух — и чем внимательнее мы прислушаемся, тем явственнее услышим его голос. Это он подсказывает нам направление тропы.

Шандор Мараи писал по-венгерски.[86] В «Дневнике» писатель замечает, что в глубине души венгры по-прежнему кочевники, и,

хотя они уже тысячу лет живут в Европе, их дух все еще отдает скитальчеством. А венгерский язык сформировался в отдаленном прошлом, когда большинства европейских языков еще не существовало. Неудивительно поэтому, что он сохранил эхо давних времен, когда «в хаосе творения человек впервые осознал свое человеческое достоинство». Это эхо можно услышать, например, в сходстве звучания двух слов: «oles» («убийство») и «oleles» («объятие») — реликт эпохи первобытных охотников, для которых жертва была объектом не только охоты, но и любви. А убийство заключало в себе мистический смысл! Пример взят из «Угольков».[87] Недавно я перечитал его снова и лишь теперь вполне оценил охотничьи рассуждения генерала Хенрика.

Избрав венгерский язык (будучи по происхождению саксонцем и поначалу писавший по-немецки), Мараи волей-неволей избрал и тропу скитальца. В отличие от других венгерских писателей, которые оставались на родине под пятой Советского Союза, Мараи, послушный Духу своего языка, в 1948 году окончательно эмигрировал. Ведь превыше всего кочевник ценит свободу! С тех пор в его «Дневнике» места «стойбищ» сменяются, как в калейдоскопе: Женева, Равелло, Рим, Милан, Сорренто, Неаполь, Казерта, Амальфи, Флоренция, Лозанна, Париж, Баиа, Базель… — я перечислил только несколько точек в Европе, а ведь Мараи исходил вдоль и поперек также Соединенные Штаты и Канаду. По нескольку раз возвращаясь в излюбленные места, словно кочевник в привычные погосты.

Парадокс Шандора Мараи заключался в том, что, пестуя в себе рафинированного европейца, он смотрел на Европу и ее плод — Америку — из недр своего языка, глазами мадьярского кочевника. Отсюда — несмотря на всю любовь к Западу — резкость его суждений о современной западной культуре, отсюда мрачность прогнозов на будущее. Мараи раздражала коммерциализация, лишающая писателя возможности быть собой, псевдоизобилие супермаркетов и демократия, в которой он видел форму порабощения личности толпой. Он осуждал захватившую человечество денежную горячку, склероз разума, маниакально алчущего новизны. Глубокую антипатию возбуждала в нем «современная Европа с ее обжорством, отрыжкой, Европа, перенявшая от Америки все самое отвратительное — безумие рекламы, наглость бизнеса, отринувшая то, что составляло ее собственный смысл: диалектические споры, изысканность духа и вкуса». В конце концов Мараи приходит к выводу, что «Европа чудесна и имеет лишь один недостаток — она не существует». Интересно, какой еще европейский писатель мог бы позволить себе заявить такое?

По мере разочарования в западной цивилизации Мараи обращал свой взгляд к Природе. Вначале ее бесконечность рождала в нем тревогу (европеец, он привык доверять картографии), а независимая и бесстрастная последовательность, с какой она прикрывала людскую нищету, вызывала возмущение. Позже, под впечатлением промчавшегося над Америкой урагана, Мараи записал в «Дневнике»: сила смерча во стократ больше, чем мощнейшая водородная бомба, а следовательно, последнее слово остается не за человеком, а за Природой. В конце жизни писатель утверждал, что «творческий потенциал Природы — не только органическая Необходимость, но также и Смысл».

Для Мараи смыслом жизни была работа, что он не раз подчеркивал, а единственной целью стала дорога. Писать и скитаться — две стороны одного листа бумаги, на котором он оставлял следы своей жизни. «Мы приходим из небытия и уходим в небытие, — записал Мараи незадолго до смерти, — все остальное — лишь детские выдумки». Вскоре после этого он пустил себе пулю в висок.

Бар, июль 2006

ПО СЛЕДАМ ХАРУЗИНА

Говоря о русских лопарях, я использовал не только современные источники, но обращался также и к старым книгам, полагая, что подобные свидетельства могут помочь прояснить многие страницы истории этого народа.

Николай Харузин

Добрых пару лет назад в Национальной библиотеке[88] я обнаружил первый том «Этнографии» Николая Харузина. То были лекции, которыми в 1898 году Николай Николаевич открыл курс этнографии в Московском университете. Книга под редакцией Веры и Алексея Харузиных (сестры и брата автора) издана посмертно в 1901 году в Санкт-Петербурге и посвящена памяти старшего брата, Михаила Харузина.

«Лекционный курс Николая Николаевича Харузина, — прочитал я во вступлении Веры Николаевны, — первая в России попытка систематизации этнографических исследований. Главное ее достоинство и отличие от работ зарубежных авторов, — анализ быта русского народа и племен с ним соседствующих. Скудная информация, какой располагают зарубежные ученые о нашей жизни, незнание нашего языка не дают им возможности использовать отечественные источники, а потому иностранным исследователям мало что известно о племенах, населяющих обширные территории Российской империи». Я запомнил эти слова.

Несколько слов о талантливых и трудолюбивых братьях и сестрах Харузиных. Их отец, Николай Иванович Харузин, происходил из богатого рода сибирских купцов. Рано оставшись сиротой, он переехал в Москву, где продолжил дело предков — текстильную торговлю. За короткое время достиг больших успехов. В 1873 году получил звание купца первой гильдии. Женился (говорят, по любви!) на Марии Милютиной, которая родила ему трех сыновей и трех дочерей. Сначала они поселились в Замоскворечье. Затем переехали в более аристократический район, на Арбат.

Харузины принадлежали к элите российского «нового купечества» второй половины XIX века. В их доме частыми гостями были Боткины, Щукины и Третьяков, там больше говорили о науке, чем о деньгах, а меценатство ценили выше торговли. Много внимания уделяли детям. Отец читал им перед сном Пушкина, Лермонтова и Некрасова, нанимал частных педагогов, тщательно выбирал школы. После смерти Николая Ивановича сыновья продали семейный бизнес Щукиным и занялись наукой.

Старший, Михаил, изучал право. Еще будучи студентом, он стал секретарем Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Михаил Харузин разработал программу сбора материалов о неписанном праве в России. Издал книгу «Сведения о казацких общинах на Дону». Прожил всего двадцать восемь лет.

Средний, Алексей, совмещал науку с государственной службой. Был управляющим канцелярией виленского генерал-губернатора и губернатором Бессарабии, директором Департамента духовных дел и иностранных исповеданий Министерства внутренних дел Российской империи и товарищем министра внутренних дел.[89] Одновременно занимался антропологией, этнографией, зоологией и ботаникой. Особую часть его наследия составляет балканская тематика. Алексей Харузин написал книгу о Боснии и Герцеговине, а также ряд статей о Словении. За научную деятельность был удостоен большой золотой медали Императорского русского географического общества. После революции 1917 года считался «неблагонадежным». Устроился на должность консультанта Сельхозгиза по огородничеству. В 1932 году был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Умер в Бутырской тюрьме.

Младший, Николай, пошел по следам старших братьев — изучал неписанное право народов Севера и Кавказа, религию и материальную культуру финно-угорских, монгольских и турецких племен. Был одним из основателей и главным редактором журнала «Этнографическое обозрение» (первые номера вышли за его счет). Оставил после себя более тридцати научных работ (в частности, труд «Русские лопари»!), сегодня считающихся классикой российской этнографии. Николай Харузин прожил тридцать пять лет. Уже посмертно вышла упоминавшаяся выше «Этнография» — четыре тома университетских лекций. Это краеугольные камни российской этнографии.

Наконец, сестра Вера. На год младше Николая, она не только сопровождала брата в северных экспедициях, а после его смерти издала прочитанные им лекции, но и сама всемерно

способствовала развитию этнографии в России. Собирала сказки, легенды, песни и мифы. Интересовалась первобытными формами театрального искусства: охотничьей магией, отправлением культа огня, шаманскими танцами и акушерскими обрядам. Вера Харузина — автор научно-популярных работ о малых племенах Севера, в частности, о лопарях, вотяках,[90] тунгусах и юкагирах.[91] Преподавала на Высших женских курсах, а после революции — в Московском университете (до 1923 года). Ее лекции, также под названием «Этнография» (в двух томах), продолжили и дополнили труд брата.

В уютном Отделе редких книг петрозаводской Национальной библиотеки сотрудницам случается перепутать брата и сестру — порой вместо лекций Николая Харузина мне выдают один из томов «Этнографии» Веры Харузиной. Я люблю там сидеть, неторопливо бродя по страницам давно не читанных книг и вдыхая их старинный, вековой запах. Тоже своего рода тропа.

Лето 1887 года Николай и Вера Харузины провели на Севере. Сперва путешествовали по Олонецкой губернии (ныне Карелия), где Николай собирал материалы для исследования правового положения местного населения. Затем отправились на Кольский полуостров, где ученый знакомился с бытом и верованиями русских лопарей. Вера описала эту экспедицию в путевых заметках «На севере. Путевые впечатления». По этой книге можно реконструировать маршрут путешествия.

Начали они с Кивача — с чего же еще начинать путешествие по Карелии, как не со знаменитого водопада, о котором сложил оду Гаврила Романович Державин, первый поэт империи. В столице даже считалось модным совершать туда экскурсии. Кто-то посоветовал Вере и Николаю приехать на место вечером, переночевать у сторожа и встретить восход солнца у водопада. Мол, на рассвете в белой пене можно увидеть радугу.

Утром выдвинулись из Петрозаводска. Был день Святой Троицы. Звонили колокола. Местные жители спешили на службу в собор, обыкновенно безлюдные улицы ожили. Вера и Алексей проехали по главной, немощенной улице, миновали почту, выкрашенную в голубой цвет (сейчас здесь ресторан), величественный особняк губернатора и поросшую травой площадь перед ним с памятником Петру I (сегодня там торчит Ленин — Петра перенесли на набережную), затем казематы, высокое белое здание казарменного вида и окраинные домишки. На мгновение остановились — привязать под дугу колокольчик — и дальше понеслись рысью. «Негостеприимен и дик северный пейзаж, — записала в дневнике Вера Николаевна. — Перед нами пустая безмолвная дорога, редкий лесок, купы деревьев и грязь.

На сером фоне пасмурного неба — силуэты чахлых елочек. Вдали свинцовая бездна Онежского озера».

Под Кончозером произошла авария, которая едва не перечеркнула все их планы. Возница, молодой да удалой, желая покрасоваться перед бабами, что шли на праздничную ярмарку, взмахнул кнутом, лошади понесли… удар… и очнулись наши путешественники уже в канаве. Перевернутая телега лежала посреди дороги, колесо валялось неподалеку, а возница орал благим матом, кляня себя и призывая на помощь. Окровавленные путешественники добрались до Чупы близ Кончозера. Деревенские жители крови испугались так, что даже воды побоялись подать — все посылали на озеро, которое, мол, совсем рядом. Наконец какая-то старуха смилостивилась и пустила их ночевать. Назавтра на новой телеге Вера и Николай попали в Кивач. Радугу так и не увидели.

В Пудож плыли на пароходе, с пересадкой в Вознесении (прямых рейсов в Шалу не было), потом ехали на тарантасе. Пудож Веру Николаевну не впечатлил. Ей показалось, что город беспробудно спит. Не то что в давние времена, когда там жили ссыльные поляки (в тексте Харузиной — «город был наводнен поляками»). Те ссыльные, что побогаче, давали концерты и балы. Эти «гости поневоле» развлекали весь город.

Далее коротко. Мои читатели, особенно те, что знакомы с «Волоком», вспомнят эту тропу: из Пудожа Харузины на телеге с полозьями (колеса ломались на вертепах) добрались до Авдеевки на берегу Купецкого озера (ворожба да суеверия) и до Водлозера (ой, забытое богом место!), где застряли в ожидании попутного ветра, чтобы переплыть на другой берег озера, осмотрели Ильинскую церковь и поболтали со священником, проехали сто десять верст до Тамецкой Лахты и переночевали в доме местного полицейского (вот кому в деревне жить хорошо), ночь Ивана Купалы провели на берегу Кенозера, вернулись на Онего и пароходом двинулись в Повенец (единственное развлечение местных жителей — трактир!), там наняли двуконную бричку и побыстрее (чтобы не расстраиваться) миновав скиты раскольников Выгореции, доехали до реки Выг, переправились на лодке к порогам, которые обошли пешком (более десяти верст) до Петровского Яма, оттуда по почтовому тракту — до Сумского Посада на берегу Белого моря, пароходом на Соловки и в Кемь (девки как на подбор), наконец, вдоль Карельского берега, мимо Керети, в Кандалакшу. С этого места буду рассказывать более подробно, потому что здесь начинается русская Лапландия. До Коли оставалось триста верст.

В Кандалакше Вера и Николай застали веселую компанию.

Дело в том, что на Севере есть обычай — ни один пароход не пропускать без так называемых привальных и отвальных, короче говоря — без выпивки. А поскольку пароход Харузиных несколько запоздал, то гулянка началась раньше. Пришлось молодым путешественникам слушать пьяные советы и дожидаться, пока протрезвеют носильщики. Полтора часа промешкали и наконец тронулись в путь.

Первые двенадцать верст прошли пешком по берегу реки Нива, обходя ее скалистые пороги. Лесной мрак. Под ногами ягель и вороника. Пахнет розмарином. Справа, за деревьями, время от времени поблескивает река. Вода грохочет на порогах. А носильщиков нет. Они отстали, чересчур увлекшись выпивкой. Ночлег в лесу, без еды и теплой одежды. Назавтра появляются носильщики. Оказалось, один упал на полпути — пришлось нести его обратно и менять на трезвого.

Лодка, на которой они собирались продолжить путь… Боже мой! Не успели Харузины погрузиться, как она наполовину наполнилась водой.

Вокруг мрачный и дикий край. По сравнению с ним Олонецкая губерния уже не кажется суровой, а безмолвие ее — на фоне здешней немоты — не так ужасает. Вот где природа действительно молчит.

И молчит тягостно… Даже шум воды кажется безжизненным, лишь подчеркивая тишину.

И снова лес. Морошка еще не созрела. До ближайшей станции пять верст. Вдруг Вера и Николай слышат человеческие голоса и беззаботный смех. На поляне отдыхает живописная компания, среди низкорослых, пестро одетых людей бродит белый олень. Наивные простодушные лица, в глазах любопытство. Все знают русский, но между собой щебечут на каком-то диковинном, непонятном, птичьем языке. Интересно, о чем они могут столько болтать, — подумала Вера Николаевна, — тем более, что на вид не слишком развиты, да и местная жизнь, монотонная и серая, дает мало тем для разговоров. А вокруг — безмолвная природа. Это были первых лопари, встреченные Харузиными в русской Лапландии.

Наконец они добрались до озера Имандра. Впереди сто верст открытой воды. Сизое пространство с чуть затуманенными берегами слегка колышется. Словно спит или притворяется спящим. Страшно подумать, что будет, когда оно проснется.

На берегу — станция Зашеечная. Покосившаяся лопарская тупа. В ожидании перевозчиков заглянули внутрь. Темно от копоти, тучи комаров, грязь. Но стоило хозяйке, молодой лопарке, растопить каменную печь, сделалось уютно. А тут еще

уха из свежего, только что выловленного сига. И самовар гудит. Самовар, по распоряжению властей, должен иметься на каждой почтовой станции, хотя сами лопари чай не пьют.

На Кольском полуострове почтовых трактов не было — и почту, и людей перевозили на лодках. Станцию сдали в аренду лопарям, хорошенько их при этом надув. Вера Николаевна не скрывала своего возмущения, описывая действия российских чиновников, которые пользовались станцией бесплатно, а порой даже поколачивали несчастных лопарей, вступиться за которых было некому.

Лодка готова. На веслах две лопарки. Увидев, как одна из них перед дорогой дает грудь младенцу, Вера Николаевна записывает, что лопарки (крепкие и выносливые, как почтовые кони) живее своих мужей, и глаза у них выразительнее. Затем добавляет, что лопарские женщины вообще необыкновенно восприимчивы и нервны, порой на грани галлюцинаций.[92] До ближайшей станции на Экострове плыли тридцать верст. Начинались белые ночи. Имандру окутывал туман.

Проснулись от дождя и холода. Скоро Экостров. Бр-р, скорее бы в тепло. Полцарства за чашку горячего чая. Только тот, кто промерзал до самых костей за Полярным кругом, сумеет оценить лопарскую тупу, пускай даже самую бедную, а также роскошь, какой на Севере является огонь.

После короткой передышки двинулись дальше. Перевозчики твердят, что надо идти, пока Имандра позволяет. На сей раз на веслах мужчины. Дождь перестал. Из-за туч блеснуло желтым светом солнце. Справа появились из тумана Хибинские горы. Грандиозное зрелище! В первый момент Харузины думали, что на вершинах сверкает снег, но Афанасьев объяснил, что это кегоры, то есть огромные поляны ягеля, оленьи пастбища. Гребцы запели.

Песни у лопарей печальные, — пишет Вера Николаевна, — как и вся их жизнь. И столь же монотонны… В начале каждого куплета они повышают голос, заканчивают же почти шепотом. Ничто так не передает характер народа, как его песни, отражающие природу, их породившую. Достаточно вспомнить лопарскую мелодию, чтобы перед глазами возникли бесстрастные лица — покорные и истощенные, и сразу же фон — словно лапландские открытки — серо-зеленая тундра и скалы в зеркалах озер, под ярко-синим или мутно-белым, но всегда холодным небом. Солнце здесь только светит. Но не греет.

Чем дальше на север, тем более лаконичными становятся заметки Веры Николаевны. Она все более торопливо записывает названия очередных почтовых станций, рек и озер, через которые пролегает их путь (Харузину замучила тайбола!), все меньше

ощущается в тексте радости, все больше хандры и раздражения. Видно, что тяготы пути, избыток солнечного света и бесчеловечность пейзажа дают о себе знать. Для человека, не привыкшего к суровым условиям Севера, даже короткое пребывание за Полярным кругом — огромное испытание.

И наконец (слава богу!) — последняя глава их странствия: Коля. На небольшом мысе, пологим склоном спускающемся к морскому заливу, примостились словно бы задремавшие деревянные домишки, белая церковь, на берегу — склады и лодки на траве. При виде этого островка цивилизации настроение у путешественников явно улучшается. Вот уже Вера Николаевна вновь восхищается северным светом (сожалея, что его не запечатлела кисть русского художника) и снова экзальтированно описывает дикую пустынную природу, кручи, бурные реки, легкие облака… Словно позабыв свои недавние слова.

Вскоре однако восторги утихают, и Вера Николаевна опять начинает хандрить. В Коле ей явно скучно. Она жалуется, что женщины целыми днями сидят дома, занятые шитьем и кухней, сетует на безлюдье — улицы оживают только в праздники, с появлением пьяных, — поносит норвежский ром (бич Севера!), которым российские купцы спаивают наивных лопарей, заключая с ними сделки, а затем за бесценок скупая рыбу и кожи. «Трудно описать, — заканчивает Вера Николаевна свою повесть, — нашу радость, когда мы услыхали гудок корабля, готового к отплытию». Измученные трехнедельным пребыванием в Коле, Харузины мечтали только об одном: поскорее оттуда вырваться.

После этого путешествия Николай Харузин выпустил книгу «Русские лопари», первый этнографический труд, посвященный русским саамам. Здесь ее найти нелегко, потому что издание 1890 года оказалось единственным. «Русские лопари» отсутствуют даже в петрозаводской Национальной библиотеке. После долгих и трудных поисков я наконец обнаружил ее в книгохранилище Этнографического музея. Разумеется, разрешение на ксерокопирование мне дали не сразу — не обошлось без долгих церемоний, потребовавших от меня большой настойчивости. Но дело того стоило: я получил в полное свое распоряжение экземпляр, по которому можно бродить сколько душе угодно, оставляя на полях следы: реплики, замечания, вопросительные знаки.

К «Русским лопарям» я обратился неспроста, это единственная дореволюционная книга о кольских саамах! Боле того — Харузин приехал на Кольский полуостров всего через несколько лет после прибытия туда коми-ижемцев, так что мог

наблюдать лопарский быт еще не нарушенным влияниями этого предприимчивого племени с берегов Печоры.

Со временем коми вытеснили лопарей с лучших пастбищ, отобрали у них стада и навязали им свои методы выпаса оленей. В конце концов аборигены начали сами усваивать материальную культуру пришельцев — конструкции саней и чумов, крой одежды. Неудивительно, что советские этнографы (Чарнолуский, Волков, Черняков, Лукьянченко) при описании Кольских саамов или опирались на работу Харузина, или давали более позднюю, искаженную картину. Заставляет задуматься другое — почему вместо того, чтобы переиздать классическую монографию Николая Николаевича, публикуется масса книг, зачастую второстепенных или просто-таки лживых?

(Кстати, Юрий Симченко, современный исследователь малых народов Севера, делит этнографическую братию на практиков и теоретиков. Первые большую часть жизни проводят в полевых исследованиях, вторые — сидят в библиотеках; потом и те, и другие пишут книги: практики — о том, что видели сами, а теоретики — о том, что видели практики, но «не вполне поняли». Николай Харузин, ученый старой школы, сочетал огромную эрудицию — читал на нескольких языках — с опытом экспедиций. Словом, проверял прочитанное тем, что видел. И наоборот.)

Немаловажны также запечатленные в «Русских лопарях» ландшафты Лапландии. Ведь Николай Николаевич прошел по Кольскому полуострову до начала индустриализации! Еще не существовало ни железной дороги Петербург-Мурманск, кардинально изменившей облик Кольской земли, ни добывающих предприятий (никакого никеля, никаких апатитов), ни асфальтовых шоссе, ни противоракетных баз. Кольские пейзажи Харузина — почти девственные — не менее ценное свидетельство, чем портреты людей в бытовых зарисовках. Потому что и пейзажи, и человек Севера в их первозданном обличьи исчезли безвозвратно. Сегодня можно лишь читать да фантазировать. А затем поехать и убедиться, что все давно изменилось.

И еще одно. «Русские лопари» Харузина не только разрушили множество тогдашних стереотипов, касающихся Севера и кольских лопарей, но и сегодня помогают обнаружить ряд общих мест нашего сознания. Например — тундра. Большинство читателей, услышав это слово, воображают большое и плоское пространство, покрытое болотами и водой (а порой вечной мерзлотой), поросшее морошкой, клюквой и редкими купами карликовой ивы и березы. А Николай Николаевич утверждает, что тундрой здесь называют сухое (прежде всего!) место, где растет

олений ягель, причем совершенно неважно, вершина ли это горы, равнина или лесная поляна. Более того, если местному жителю сказать, что тундра — это болота, он обидится. На вопрос, как дойти до озера Духов, отвечают, что сперва надо идти пару верст по болоту, потом через тайболу, а дальше будет тундра, там уже легко.

ОЗЕРО ДУХОВ

Меня спрашивают, что вы там живете — в голубых горах? Смеюсь и не отвечаю… Сердце мое спокойно. Цветок персика уносится струей и исчезает. Есть другой мир — не наш человеческий.

Ли Бо[93]

Персики в Ловозерских тундрах не растут. Зато летом морошка рассыпана, словно цветы, осенью краснеет рябина, и белые лезут прямо на дорогу, а олений ягель по обочинам издалека напоминает зеленовато-серую пену. И мир там другой — как у Ли Бо! — не наш человеческий. Всякий раз, отправляясь на берег Сейдъявра (озера Духов), кроме спального мешка и еды, я кладу в рюкзак томик китайского поэта. С ним и странствовать веселее, и научиться можно многому.

Ловозерские тундры (по-саамски — Луяврурт) — мощный горный массив, взбугрившийся на северо-востоке Балтийского щита в процессе каледонского орогенеза[94] (между кембрийским и девонским периодами), то есть примерно четыреста миллионов лет назад. По мнению советского геолога, академика Александра Ферсмана, раньше это был подземный вулкан. И в самом деле — Ловозерские тундры по форме напоминают огромный кратер с озером Духов внутри. Не исключено, что вулкан этот не совсем погас, потому что раз в несколько лет священное озеро выбрасывает на берег тонны мертвого сига. Быть может, в воду проникают какие-то вулканические газы, а может, ее отравляют залежи редкой руды, выбираемой из Ловозерских тундр уже более полувека.

Впрочем, озеро Духов издревле пользуется несколько специфической славой. Некогда оно было местом саамских обрядов, магии, жертв и запечатленных в скалах мифов. В 1922 году экспедиция Александра Барченко[95] (с разрешения Дзержинского) исследовала там феномен меряченья.[96] На рубеже XX и XXI веков Валерий Никитич Демин,[97] москвич, доктор философских наук, организовал несколько шумных научных экспедиций, искавших мифическую Гиперборею. В последние же годы на берега озера Духов стали съезжаться

всякого рода психи изо всех закоулков Российской Федерации в поисках галлюциногенных грибов и шаманской силы. Я знаю людей, встречавших там снежного человека, разговаривал с теми, кому довелось пережить там собственную смерть, и слышал о тех, кто пропал там без следа. От себя могу добавить, что это одно из самых красивых и необычных мест, какие я видел на свете.

Я бывал там в разное время года, бродил в одиночку и с друзьями, пешком и на лодке, на лыжах и на «Буране», но самые лучшие воспоминания остались о бабьем лете на берегу озера Духов с Наташей.

Попробуйте вполголоса проговорить имена гор, перевалов, долин, озер и рек, расположенных в массиве Ловозерских тундр — получится словно бы литания Матери-Земле. Быть может, вы ощутите прелесть первобытного языка и радость общения с духами первобытной природы. Имена будем произносить (в скобках я даю перевод саамских названий), следуя по кругу против движения солнца.

Итак, взгляните на карту! Ловозерские тундры подковой охватывают озеро Духов. На северовосточной оконечности этой подковы, почти над самым Ловозером поднимается Вавнбед («Гора голой попы») и Куамдеспахк («Гора шаманского бубна»), дальше на запад — Кемесьпахк («Гора токующих тетеревов»), Куйвчорр («Гора старца Куйвы»), Куэтнючорр («Гора с вежей с краю»), Сэлсурт («Гора туманов») и ее северный отрог Флора (в память открытия в 1935 году оттиска верхнедевонского папоротника, что позволило датировать массив), за ним Пялкинпорр («Гора белизны»), Карнасурт («Гора ворона») и Эльмарайок («Гора метели»), спускающаяся крутой осыпью к перевалу Эльмарайок (через него мы первый раз шли к озеру Духов). Затем цепь Луяврурт сворачивает к югу и поднимается двумя скальными цирками[98] Раслака на Аллуайв («Гора высокой головы»), после чего спускается к перевалу Геологов и снова поднимается на Кедык-вырпахк («Гора падающих камней»), достигает пика на Ангвундасчорре («Гора покрытая инеем», тысяча сто двадцать один метр — самая высокая вершина массива), доходит до Сенгисчорра («Гора узкой грани») и сворачивает на восток. Далее следуют: Тавайок («Гора северной реки»), Маннепахк («Гора луны»), Страшемпахк («Трудная гора» — на нее трудно взобраться с санями), Энгпорр («Гора нор»), Пункаруайв («Гора лысой головы»), а замыкает подкову с юго-востока Нинчурт («Гора женской груди»). Что касается этой последней, Валерий Теплаков, пастух, мой друг, утверждает, что «Нинчурт» следует переводить как «Чертовы сиськи», и плутовато

посмеивается — это, мол, в сущности, одно и то же.

Каждый раз, когда я произношу названия Ловозерских тундр — как вот сейчас, — словно вижу нойдов, танцующих на стенах скал и группы сейд-камней, точно вырезанных из воздуха. И одновременно чувствую, что они тоже не спускают с меня глаз. Старец Куйва рассматривает меня с Куйвачорр, повар Павра глядит из реки Чивруай («Долина каменного потока»), дух тетерева взирает с горы Кемесьпахк, дух змей — из реки Куфтуай, дух ольхи — с горы Лепхе, дух росомахи — из реки Киткуай, а дух Пустоты — из озера Райявр («Пустое озеро»). Словом — на протяжении всей этой языческой литании со мной пребывают духи всего, что обитает на этом и том свете.

Имена Ловозерских тундр можно проговаривать и двигаясь вслед за солнцем (по часовой стрелке) — начать с Нинчурта и закончить Вавнбедом. Это уж кому как нравится…

Будто утренний туман с озера Духов, ткутся саамские легенды. Более того, Сейдъявр в саамских мифах зачастую играет главную роль. Например, в сказке о Мяндаше, записанной Владимиром Чарнолуским в 1936 году, сказано, что если Айеке (бог грома) настигнет человека-оленя и поразит его первой стрелой, вулкан под Сейдъявром проснется и зальет землю кипящей лавой. Вторая стрела разожжет космический пожар, а третья заставит пасть на землю звезды. Погаснет солнце и наступит конец света.

Никия — жена бога полярного сияния, героиня одного из красивейших саамских мифов о Найнасе — родилась на острове на озере Духов. Ее имя означает «Тень-той-которой-нет». Когда я читал эту сказку, мне казалось, что ее написал Ли Бо. Тем более, что Никия — дочь Луны, возлюбленной китайским поэтом.

Однако главным героем мифов, связанных с озером Духов был (и остается по сей день) грозный Куйва, хозяин Сейдъявра. Его черная фигура (высотой более семидесяти метров) на скальном уступе на северном берегу озера не дает покоя ни исследователям, ни любителям всяких диковинок. Происхождение ее неизвестно. Одни утверждают, что это результат эррозии. Но почему в таком случае эта эрозия не продолжается? — возражают оппоненты. Другие полагают, что это гигантский петроглиф, хотя нигде больше таких нет. Третьи с пеной у рта настаивают, что это вышедшая на поверхность жила старой руды. А есть и такие, которые видят в огромной фреске на скале Куйвачорр тень титана Гипербореи, следы древнейшего ядерного взрыва… Стоит добавить, что никому еще не удалось сфотографировать Куйву вблизи. Было две попытки и обе

закончились плачевно. Фотографов вместе с аппаратурой смело камнепадом.

Нет также единого мнения по поводу того, кем был этот легендарный Куйва. Наиболее распространена гипотеза, что это вождь чуди (чужеземных захватчиков), брошенный на скалу чарами саамского нойда. Может, поэтому в большинстве преданий о Куйве ощущается суеверный страх, а местные жители по сей день бросают в озеро серебряные монеты — дань старцу. Когда я впервые ночевал на берегу Сейдъявра, то еще не знал об этом обычае, и утром, разбуженный солнцем, прямо из спальника полез в воду. Но поплавать вдоволь не успел — небо над головой затянуло тучами и полил дождь. Погода внезапно испортилась. Позже, когда мы познакомились с Теплаковым, он объяснил, что это Куйва разозлился. Потом посмотрел на меня осуждающе и добавил, что в священном озере вообще-то купаться не стоит.

В саамских сказках постоянно встречается сюжет войны с чудью. На берегу Сейдъявра мы на каждом шагу натыкаемся на следы мифических боев. В долине реки Чивруай, на правом склоне (если смотреть со стороны озера) торчит обращенная в скалу голова Павры, полевого повара Куйвы. Заклятие настигло его у самого гребня горы — в наказание за кражу саамских драгоценностей. О диво, чертами лица он напоминает неандертальца. Или эвдиалит,[99] называемый еще «лопарской кровью». По легенде, это окаменевшие брызги крови саамов, которые полегли в борьбе с чудью. Темно-красный минерал (его высоко ценят ювелиры!) действительно напоминает засохшую кровь. Говорят, он растворяется даже в теплой воде. Эвдиалита много на берегу озера Духов.

Однако нельзя забывать, что, в отличие от других древних народов, саамы не записывали свои мифы на пергаменте или папирусе. Это уже позже были сделаны попытки реконструировать их эпос из осколков сказок и легенд, из орнаментов на сапогах или рисунков на бубнах. Саамы читали о своих героях, богах и демонах по книгам озер и скал. Письмом была для них кочевая тропа. Читать ее лучше на ходу.

Датой открытия горного массива Ловозерских тундр (ранее науке неизвестного) считается 24 июля 1887 года. В этот день в Ловозерский погост прибыла финская научная экспедиция — обычно именуемая экспедицией геолога Вильгельма Рамзайя,[100] хотя руководил ею зоолог Юхан Пальмен[101] (среди участников были также орнитолог, ботаник и картограф). Дело в том, что открытие массива Луяврурт и его минеральных богатств заслонило другие результаты экспедиции, как, например,

составление первой карты региона (которой позже воспользовался Ферсман) или описание новых видов мхов. Остались без внимания также сообщения о таинственных явлениях, замеченных экспедицией на берегу озера Духов. Лишь недавно журналистка Кристина Лехмус опубликовала воспоминания Петтери Кетола, одного из ассистентов финской экспедиции. Некоторые детали его повествования (записанного в 1930-е годы) заставляют по-новому взглянуть на дальнейшие события в Луяврурте.

Прежде всего, с местными жителями договориться не удалось — они отказались показывать финнам дорогу к Сейдъявру, объяснив, что там, среди болот, лежит город мертвых, охраняемый мстительными гномами. Однако финны не вняли предостережениям и сами отыскали путь, положив начало разработке богатейших залежей минералов. Уже в первом докладе Рамзай сообщает о залежах полевого шпата в Ловозерских тундрах. Он упоминает нефелин, содалит, амфибол, эвдиалит и полевой шпат, а также подробно описывает семь ранее неизвестных минералов.[102] Номером первым идет лопарит[103] — руда, содержащая редкие металлы: тантал, титан, ниобий и лантаноиды. Проклятие Луяврурта.

Да-да, именно проклятие! Кетола рассказывал, как на одном из островов озера Духов — Могильном — финские ученые повстречали трех саамских нойдов. Они пригласили их к костру, угостили чаем. Время от времени старший из нойдов бросал в огонь какие-то травы. Вдруг, ни с того ни с сего, лицо его изменилось до неузнаваемости (Кетола твердил что-то о медведе), он впал в транс и стал сумбурно проклинать чужеземцев:

— О-о-о, будьте вы прокляты, смерть сюда несете. Горы трупов! Вижу общие могилы в тундре. Людей загоняют, точно оленей. Копать и копать. На берегу Имандры, в Хибинах и на Килдине, в священных горах Луяврурт. Повсюду дым до небес и кровь. Облака дыма и кровавый туман. Золото и железо, цепи, крики и плач! Но их жалоб никто не слышит… Им велят копать и рыть. Кто нашел золото Хибин, серебро Килдина, камни Сейдъявра? Кто нарисовал палачам путь на бумаге? Пусть же у него камень застрянет в горле.

Можно себе представить, какое впечатление произвело на молодого Петтери проклятие саама, если он помнил его до самой смерти. Но это еще не все. Может, под воздействием дыма от травы, брошенной саамом в огонь, а может, под впечатлением его слов, финны на мгновение заглянули в страну умерших. Они вдруг увидели рядом с собой окаменевших людей с пустыми,

лишенными выражения лицами.

— Это был кошмар, — вспоминал Кетола, — я чувствовал, как сам под их взглядами обращаюсь в камень.

Это был иолит. Магмовая скала, миллионы лет назад застывшая в недрах земли, приняла фантасмагорические формы полулюдей-получудовищ. Ощущение необычности происходящего наверняка усилили испарения горячего источника, который бил поблизости (словно дым из бездны ада) и ирреальное бледно-зеленое, чуть фосфоресцирующее зарево белой ночи. И вот еще что: район озера Духов неслучайно стал местом шаманских культов. В этих местах человек легко становится жертвой арктической истерии. Меряченья.

В январе 1922 года известный невропатолог, профессор Владимир Бехтерев, директор Петроградского института мозга, командировал на Кольский полуостров одного из своих сотрудников, Александра Барченко, поручив ему исследовать явление меряченья. Речь шла о психических аномалиях в районе озера Духов. Есть основания предполагать, что экспедицию финансировал Специальный отдел ОГПУ, который еще раньше заинтересовался трудами Барченко.

Откуда такой интерес у советских чекистов? Быть может, ответ следует искать в письме Барченко, кстати, одном из немногих, сохранившихся в его архиве. Цитирую: «Здесь, в этом вымерзшем пустынном краю, распространено необычное заболевание, называемое меряченьем (или арктической истерией). Им болеют не только местные, но и приезжие. Это специфическое состояние напоминает массовый психоз, обычно проявляется во время совершения шаманских обрядов, но иногда способно возникать и совершенно спонтанно. Пораженные меряченьем люди начинают повторять движения друг друга, безоговорочно выполняют любые команды, порой могут предсказать будущее. Если человека в таком состоянии ударить ножом, это не принесет ему вреда!». Разве это не находка для любой госбезопасности?

Александр Васильевич Барченко был достойным сыном своей эпохи. Еще до революции он написал несколько новелл в духе Эдгара По, два года изучал медицину в Казанском университете (где, вероятно, познакомился с Бехтеревым), занимался проблемами парапсихологии и передачи мыслей на расстоянии, а также поиском пропавших цивилизаций. Результаты своих исследований публиковал в научно-популярных журналах. Сразу после революции Барченко заинтересовал Феликса Дзержинского и ЧК. После экспедиции на Сейдъявр (видимо, оказавшейся

плодотворной) Барченко возглавил секретную лабораторию ОГПУ по исследованию человеческого мозга. В 1930 году он путешествовал по Алтаю, собирая материалы о шаманских камланиях. Планировал экспедиции в Тибет, Монголию и Афганистан. К сожалению, не успел. В 1937 году Барченко был расстрелян.

Данных об экспедиции Барченко в район озера Духов сохранилось немного. Ее участники погибли в лагерях, а почти вся документация — фотографии, отчеты, письма — бесследно исчезла в архивах органов госбезопасности. До наших дней дошли отрывки: несколько фотоснимков и отдельные листки из дневника руководителя экспедиции, геофизика и астронома Александра Кондиайна (чудом уцелевшего в семейном архиве после ареста и смерти автора), несколько поблекших машинописных страниц — фрагмент труда, в котором Барченко излагает свои историософские взгляды (передал их семье сопровождавший экспедицию чекист), несколько писем. Вот и все.

Мы никогда не узнаем наверняка, что же на самом деле искал Барченко на берегу саамского озера Духов. Прибыл ли он туда делать замеры для будущих мелиорационных работ (официальная версия!) или исследовать явление арктической истерии? Работал ли по заданию института Бехтерева или выполнял секретное задание спецслужб? А может, пользовался поддержкой и тех, и других в собственных интересах? Например, искал на берегах Сейдъявра следы мифической Гипербореи?

Гиперборейскую гипотезу уже много лет упорно отстаивает доктор Демин, организатор нашумевшей экспедиции по следам Барченко. Он утверждает, что Александр Васильевич Барченко не только обнаружил свидетельства существования архаического культа Солнца в Луяврурте (в частности, астрономическую обсерваторию, созданную тысячи лет назад, каменный амфитеатр и так далее), но также отыскал вход в подземную лабораторию, в которой гиперборейцы якобы собирались расщепить атом, работать над использованием ядерной энергии, а также экспериментировать с лазером.

Сохранился сделанный Кондиайном снимок, запечатлевший участников экспедиции Барченко на фоне этого входа в лесу.

Расскажу о сенсациях последних нескольких лет, связанных с экспедицией Демина. Потому что от пребывания Барченко в Луяврурте ее отделяет целая эпоха. Возможно, наиболее значимая.

Все началось с железной дороги Петербург-Мурманск. Поспешно выстроенная в начале Первой мировой войны — Россия

в это время оказалась отделена от Балтики и Черного моря, так что Романов-на-Мурмане (позже Мурманск) был единственным портом, через который можно было осуществлять снабжение армии, — после окончания военных действий она сделалась не нужна, к тому же требовала срочного ремонта. Перед молодой Советской властью встал вопрос: откуда взять деньги? Тем более, что с точки зрения финансов Кольский полуостров казался бесперспективным (ни промышленности, ни сельского хозяйства). Была создана правительственная комиссия, в состав которой вошел, в частности, выдающийся геохимик и минералог, академик Ферсман (Саша Кобелев, президент Сапми, назвал его в разговоре со мной Пилатом саамов!). В мае 1920 года члены комиссии отправились поездом на Север, чтобы собственными глазами увидеть и решить, имеет ли смысл ремонтировать и эксплуатировать железную дорогу на Кольском полуострове. Путешествие было ужасным, — вспоминал спустя годы Ферсман, — бесконечные остановки: то поезд сойдет с рельсов, то кончатся дрова для паровоза… Неудивительно, ведь дорогу эту строили рабы — узники и военнопленные.

(В скобках замечу, что я люблю русские железные дороги и много лет мечтал какой-нибудь Новый год отметить в поезде. Время острее всего ощущаешь в движении, так что перспектива встретить Новый год в бескрайнем пространстве Севера привлекала меня больше, чем сидение за накрытым столом в ожидании кремлевских курантов. Эту идею я осуществил недавно в поезде Мурманск-Петербург. Я возвращался из Луяврурта. Один-одинешенек в купе, почитал, погасил свет, чтобы лучше видеть северное сияние. В темном окне, как на экране, отражается просвет приоткрытых дверей в коридор, незнакомые люди ходят туда-сюда (рядом вагон-ресторан); чем ближе к полуночи, тем больше суматоха: аромат духов, шум голосов, звяканье бокалов. А снаружи пусто, редкие огоньки, полувымершие станции. Поезд все больше напоминал «пьяный корабль». Новый год мы встретили за Сегежей. Над Медвежьегорском салют. На перрон в Петрозаводске выбрались в полтретьего — словно из поэмы Рембо.)

После этого отступления возвращаюсь к воспоминаниям Ферсмана. В очередной раз они остановились близ Имандры, снова кончились дрова. Пользуясь остановкой, Александр Евгеньевич уговорил спутников пойти на экскурсию. Они отправились на близлежащую гору Маннепахк. «Невозможно забыть впечатление, — написал он потом в «Путешествиях за камнем», — какое произвела на нас обширная панорама, уходящая за горизонт. Все было ново и неожиданно:

бесчисленные цепи гор, чьи мощные хребты тянулись, к нашему изумлению, на восток. Откуда взялись эти горные массивы, если на картах тут значились низины? Это был совершенно новый, никому ранее неизвестный горный мир. А эти фантастические камни! Порой я не умел назвать ни одного минерала в кристаллах разных цветов и размеров. Я сразу решил, что должен любой ценой исследовать этот район».

И сдержал слово — к несчастью Кольского полуострова. Потому что, выражаясь языком той эпохи, это было началом «войны за минералы». За несколько лет геологи Ферсмана при поддержке товарища Кирова из Петрограда буквально перекопали Хибинские и Ловозерские тундры (только в 1920–1922 годах прошли около тысячи пятисот километров и открыли более сотни месторождений минералов). Строились огромные промышленно-добывающие комбинаты, вырастали города (Мончегорск, Хибины, Кировск), куда съезжалась масса людей в погоне за «длинным рублем». Охваченный идеей тотальной химизации Советского Союза, Ферсман писал: «Это отнюдь не фантазия, не сказка, а плоды большевистской деятельности. Победа в борьбе с природой! Мы победили край непуганных птиц, безмолвную тундру, зимой белую от снега, летом — от оленьего ягеля». Поистине, сам дьявол нашептал ему эти слова, верно?

Сначала минеральная лихорадка пощадила Ловозерские тундры. Ферсман делал ставку прежде всего на хибинские апатиты и Мончегорский никель. Потом на короткое время геологов привлек ловозерский эвдиалит (содержащимся в нем цирконием, которого в Советском Союзе не хватало), однако настоящим стимулом для развития добывающей промышленности в районе Сейдъявра оказалось открытие во второй половине тридцатых годов выхода на поверхность лопарита — сперва на горе Нинчурт, затем в цирке Раслака на Аллуайве. Первые три штольни на Аллуайве были пройдены в 1937 году. Через два года по указу властей создан горно-обогатительный комбинат «Аллуайвстрой». Как и все в ту эпоху, название ему дали тоже «на вырост».

Рабочих подбирали кое-как. Лев Евгеньевич Эгель, директор комбината, жаловался в письме к начальству, что девяносто процентов рабочей силы — маргиналы. Это были люди без постоянного места жительства, нередко скрывающиеся от милиции: например, главарь банды, грабившей поезда, капитан порта, спьяну приревновавший и убивший жену, одессит, изготовлявший поддельные документы, осужденный на десять лет, но сумевший бежать из лагеря, два десятка монахов из печенегского монастыря, которых привели на комбинат насильно.

Единственных специалистов, финских подрывников (ветеранов Беломорканала), вскоре арестовали «за антисоветский заговор» и всей бригадой — без исключения — расстреляли.

Ситуация нормализовалась в 1941 году, когда Иосиф Сталин поручил заняться «Аллуайвстроем» товарищу Берии. 22 апреля в шахты прибыла первая партия заключенных. Уже через два месяца на территории комбината работало двадцать тысяч зеков. Во время войны оборудование и рабочих эвакуировали за Урал. В норильские никелевые шахты.

После войны проблемы, связанные с редкими металлами, объявили строжайшей государственной тайной. Дополнительный секрет массива Ловозерских тундр заключался в больших количествах обнаруженного там тория, на который, как и на уран, возлагали большие надежды конструкторы атомной бомбы. Поэтому неудивительно, что материалов и свидетельств послевоенной истории Луяврурта сохранилось немного.

Добыча руды в цирке Раслака на Аллуайве возобновилась в мае 1946 года. Однако в декабре выяснилось, что залежи лопарита на Карнасурте (священная гора саамов!) не только обширнее, но и доступнее. В 1947 году работы на Аллуайве были остановлены и начата разработка (продолжающаяся до сих пор…) карнасуртского участка. В 1948 году пройдены две первые штольни и вырыт котлован под фундамент дробильно-обогатительной фабрики. Людей поселили в лагере на берегу озера Ильма у подножия Горы Ворона.

Судя по сохранившимся — обрывочным — сообщениям, быт рабочих был ужасен. Зимой 1948 года, — вспоминает врач Татьяна Тарасова, которую вместе с подругой разместили в дырявой брезентовой палатке, вместе с двумя мужчинами-геологами (палаток не хватало), — в лютые морозы спали в пальто, валенках, шапках-ушанках. Утром, чтобы открыть глаза, приходилось размачивать слюной смерзшиеся ресницы. На работу ходили, держась за канаты, чтобы не сдуло ветром. Горячим концентратом лопарита мыли посуду, натирали спину и полоскали горло. Никто ведь не удосужился объяснить рабочим, что концентрат радиоактивен.

С 1949 года для работы на комбинате, а также строительства поселка Ревда и дороги из Ревды в Оленегорск снова использовали зеков — главным образом, «врагов народа» и власовцев, приговоренных к двадцати пяти годам заключения. Режим работы для вольнонаемых и зеков по сути ничем не различался. Например, за четверть часа опоздания на работу вольнонаемный получал четыре месяца «принудиловки»

(принудительного труда), за опоздание более чем на двадцать минут — два года тюрьмы. Следов лагерей в Ловозерских тундрах сохранилось множество и по сей день, нужно только уметь их прочитать на поверхности тундры — по цвету мха, камням, сколам. Меня этой премудрости обучили местные пастухи.

И хотя после смерти Иосифа Виссарионовича лагеря в Ловозерских тундрах ликвидировали, район оставался «закрытой зоной» до начала 1990-х годов.

Одному богу (а также тайным службам) известно, что там искали и что нашли. До ельцинской смуты посторонних к Луяврурту не подпускали на пушечный выстрел. Никаких туристов! Никаких иностранцев! Под запретом было само сочетание слов «Ловозерские тундры» и «лопарит»!

Потом воцарился хаос. Оказалось, что добыча лопарита слишком дорогостоящее дело — дешевле покупать редкие металлы у китайцев. Тем более, что в Китае их добывают из глины, а не из радиоактивных концентратов, переработкой которых уже никто не хочет заниматься. Пресса поговаривает, что шахты надо затопить. А что делать с людьми? Шахтеры бунтуют (полгода без зарплаты!) и грозятся просто бросить выработки — понятно, чем это чревато. «Зеленые» тоже бьют тревогу: затопление шахт приведет к экологической катастрофе — радиоактивный ил просочится в озеро Умба, а оттуда — в Белое море.

— Словом, все слышат, как под задницей тикает бомба, но никто не знает, как с нее слезть.

Сегодня шахта «Карнасурт» напоминает кадры из «Сталкера»: слепые здания из железобетона — то ли административные корпуса, то ли цеха, повсюду лужи маслянистой грязи, отвалы, издалека напоминающие горы шлака, призрачная платформа и неподвижный мостовой кран, стальные ангары в потеках ржавчины, облака сизого дыма, цистерны на колесах, узкоколейка. В последний раз мы проходили там в прошлом году, это единственная дорога из Ревды (через перевал Эльмарайок) к озеру Духов, и я до сих пор ощущаю во рту химический привкус. Словно пережевываю проклятие саамского нойда.

В конце XX века, который понаделал дырок в Ловозерских тундрах, а в людских головах оставил пустоту, вновь заговорили о шаманских традициях Луяврурта. Может, виной тому мода на нью-эйдж, может, таковы последствия Духовной смуты, но озеро Духов снова манит всевозможных искателей — как специалистов по исчезнувшим цивилизациям, так и любителей измененных состояний сознания. С некоторых пор священное озеро саамов

слывет в России одним из главных «мест силы».[104] Гипотезы выдвигаются разные. Одни утверждают, что располагаясь на геологическом разломе, Сейдъявр излучает энергию Матери-Земли, другие уверяют, что будучи местом обрядов и шаманских культов, Сейдъявр отдает накопленное столетиями напряжение камлания. А кто-то предполагает, что это просто излучение — ядерное или космическое. В результате на Кольский полуостров тянутся наследники идей Барченко.

Одним из них, причем, вне всяких сомнений, наиболее известным, был Валерий Демин. В 1997 году, то есть в семьдесят пятую годовщину экспедиции Александра Васильевича Барченко на Кольский полуостров, в апрельском номере популярного журнала «Наука и религия» появилась статья Демина о предприятии Барченко — этот текст и открыл «новую эру» в истории исследования Ловозерских тундр.[105] Валерий Никитич утверждал — ни больше ни меньше, — что массив Луяврурт — это руины храма Солнца мифической Гипербореи (описанной древними греками), северной колыбели человечества, из которой наших предков изгнал изменившийся вследствие искривления земной оси климат. Александр Барченко — согласно Демину — обнаружил следы этого храма, но НКВД ловко их упрятало. Поэтому следует организовать очередную поисковую экспедицию. Она проходила под патронатом журнала «Наука и религия» и получила громкое имя «Гиперборея».

С каждым годом масштабы мероприятия росли: летом 1997 года работало лишь четверо энтузиастов, а в 2000-м Ловозерские тундры уже прочесывали огромные отряды из разных уголков России (из Москвы и Петербурга, Мурманска, Петрозаводска и Тулы) — с помощью хитроумных приборов (например, геозондов), при поддержке вертолетов и группы аквалангистов. Со временем к поискам присоединились самые разные специалисты — археологи, геологи, кибернетики и астрофизики, знатоки веданты,[106] шаманизма, рунического письма и обрядов друидов, а также мурманский телевизионный канал, клуб вологодских лозоискателей и несколько независимых фотографов, например, мой знакомец Игорь Георгиевский и его жена Светлана, иллюстратор «Калевалы» (я писал о них в «Волоке»). Журнал «Наука и религия» регулярно публиковал плоды этих поисков.

Если верить Валерию Никитичу и его коллегам, успехи «Гипербореи» не могут не восхищать. Каждый очередной сезон приносил новые ошеломляющие результаты. К важнейшим — по мнению Демина — следует отнести открытие природного амфитеатра храма Великой богини на одном из склонов горы Карнасурт и остатков древней астрологической обсерватории на

горе Нинчурт, обнаружение на дне Сейдъявра огромного (размером сто метров на двести) символа трех вагин на Древе Жизни (потрудились аквалангисты из московского отделения Международной школы выживания «Виталис»), а также прочтение Евгением Лазаревым, знатоком рун, молитвы гиперборейцев, высеченной на скале Нинчурт:

Дали дэлаваба
Тана манаба
Туле дэлавега![107]

Естественно, можно махнуть на эти сенсации рукой, назвав их псевдонаучным бредом, можно с маниакальным упорством (как некоторые и поступают) доказывать, что Демин — мошенник, притягивающий факты за уши, а то и вовсе выдумывающий… Но нельзя не поразиться, насколько схоже ведут себя люди, когда у них отнимают веру — православную ли, как после Октябрьской революции, или коммунистическую, как после крушения Советского Союза.

Что касается споров, они вовсе не новы. Достаточно вспомнить полемику Ферсмана с гипотезой Барченко, согласно которой пирамиды на Нинчурте — произведение человеческих рук. Ферсман доказывал, что это результат коррозии. Валерий Демин опубликовал в своей книге «Загадки русского Севера» сделанную Игорем Георгиевским фотографию этих пирамид с вопросом: разве слепая сила природы может создать столь идеальные геометрические формы? Меня смущает другое: зачем на фоне этих пирамид Игорь запечатлел голую Свету?

В декабре 2006 года я приехал в Москву на книжную ярмарку Non/fiction, в рамках которой был устроен мой авторский вечер. Позвонил Демину в надежде познакомиться с энтузиастом. Увы, женский голос сообщил, что сегодня Валерия Никитича похоронили.

Наконец несколько личных откровений, связанных с этим удивительным уголком Севера. Откровений — потому что, во-первых, мне кажется, будто я открываюсь из молчания, во-вторых — это своего рода исповедь. Прощупывание словами того, что остается вне слова. Невысказанным.

Итак, бабье лето в Луяврурте. Мы только что покинули территорию шахты «Карнасурт» и, унося на губах привкус химии, карабкаемся по камням к перевалу Эльмарайок. Из седла между Карнасуртом и цирком Раслава нас заливает солнечным светом и, несмотря на темные очки, у меня перед глазами бегут золотые

полосы. Слева, почти на самой вершине Карнасурта поблескивает что-то белое, словно кто-то пускает солнечных зайчиков. Это полоска ручья (как я понял, зайдя в тень и переведя дух…), но откуда ему взяться на верхушке горы? Справа стена котловины Раслака — языки вечного снега среди скальных уступов, у подножья осыпей. А на тропе — ни души, если не считать тишины. Такой ощутимой, что чувствуешь ее присутствие!

Перевал Эльмарайок. От красоты, открывшейся по ту сторону, захватывало дух. Какой-то нечеловеческий пейзаж — мы словно заглянули в мир, еще не населенный людьми. Сонный ритм горных хребтов, синкопированный долинами среди потрескавшихся скал, скупая палитра цветов — от бледного ягеля и скальной серости наверху до золотистых берез и бордовой ольхи внизу. Ни одного слишком яркого тона, ни одного колористического диссонанса. Ландшафт равномерно покрыт блестящим туманом, словно лаком. Во славу местных духов мы выпили по глотку красного вина и стали спускаться.

По сей день не знаю — то ли вина было слишком мало и духи обиделись, то ли наоборот, те из благодарности переплели тропинки, даровав нам мощный выброс адреналина? Как бы там ни было, вместо того, чтобы спуститься по левой гряде, мы полезли напрямик по каменному водостоку, который вскоре оказался руслом потока Эльмарайок. Сначала идти по пологому склону было легко. Потом начались проблемы — скользкие двух-трехметровые скалы и кручи — один неверный шаг и кубарем полетишь вниз. Канат бы, запоздало подумал я, страхуя Наташу собственным телом (то есть попросту вставал ниже и надеялся, что сумею ее удержать, если она сорвется). К счастью, все обошлось!

Хотите верьте, хотите нет, внизу, возблагодарив духов очередным глотком вина, мы посмотрели на пройденный путь, чтобы оценить свой подвиг: высоко в небе, у нас над головой, бесшумными тенями кружила пара воронов. Птицы покружили и улетели в сторону Карнасурта.

Теперь, немного придя в себя после этого головоломного приключения, можно было оглядеться. Такое ощущение, что мы спустились в палеозойскую эру. Насколько хватало глаз — лишь окаменевшие следы бурной деятельности Земли. Причем такое ощущение, будто стихия улеглась только что. Морена еще теплая, а под скальными плитами не ручей булькает, а лава остывает. Что за мощная сила разбросала скалы, какой циклоп поставил стоймя эти каменные блоки, кто насыпал эти груды?

— Не так ли будет выглядеть наша планета, когда ей наскучит человечество и она стряхнет его вместе со всеми

плодами людской деятельности — как олени стряхивают паразитов?

— Я не против, при условии, что смогу это увидеть.

Дальше тропа наша вела вдоль Эльмарайока — то плутая в ягодниках, то теряясь на осыпях. Порой направление указывали кучки камней, сложенные чьей-то заботливой рукой, порой помогал след ботинка в застывшей грязи. Несколько раз мы сбивались, топтались в ивовых зарослях, иногда присаживались отдохнуть. Тем временем из ущелья Чинглусуай выползали дождевые тучи, словно стекая со склонов Кедыквырпахха и Ангвундасчорра, и не успели мы оглянуться, полило как из ведра. Хорошо хоть, Сейдъявр выглянул из-за скалы Куйвы, словно подбадривая: уже недалеко. К сожалению, мы проглядели ольшанник, у которого, согласно инструкциям Вдовина, следовало свернуть направо, да еще GPS сдох. Может, Куйвины проделки? Короче говоря, вместо того, чтобы обходить озеро по сухому подножью гор, мы забрели в болота Эльмарайока.

— Кстати, написать «короче говоря» легко, а на самом-то деле, это долгая канитель.

— Протаптывать тропу в словах тоже нелегко, поверь. Порой я предпочитаю писательству путешествие. Но обычно выходит примерно одно и то же. Вот как сейчас.

Двигаясь в обманчивой жиже, местами по пояс, в быстро надвигающихся сумерках, мы молили послать нам относительно сухой шматок земли, чтобы разбить палатку и разжечь костер. А то впотьмах можно попасть в такое место, где нас еще сто лет никто не отыщет. Наконец Куйва сжалился, почва под ногами начала твердеть, и мы вышли на маленький мыс, врезающийся в Сейдъявр с запада. Потом я понял, что нам удалось пройти Черную Вараку, летом практически недоступную.

Именно здесь, по мнению Демина и его экспертов, находился когда-то главный город гиперборейцев — пока под влиянием глобального (модное словечко) катаклизма — то ли метеорита, то ли бомбы — его не поглотили болота. В саамских сказках Черная Варака — обиталище Оадзи и прочих отвратительных тварей. Злая слава Черной Вараки, возможно, объясняется болотными газами, которые не только могут принимать весьма причудливые формы, но также влияют на человеческую психику — подобно мухоморам. Подтверждение тому — густые испарения наших снов той ночью.

Утром нас разбудили крики водоплавающих птиц. Погода стояла чудесная. Роса на траве переливалась всеми цветами радуги.

Наташа заварила чай с брусникой и медом, я кое-что записал

(и теперь переношу эти заметки на экран лаптопа). Вдруг послышались человеческие голоса. Они доносились с соседнего мыса, метрах в ста пятидесяти-двухстах от нас. Отчетливо, словно разговаривали совсем рядом. Я крикнул в ту сторону, хотел спросить, как идти дальше. Молчание. Крикнул еще раз — тишина. Через какое-то время мы снова услышали голоса. Женский и мужской. На этот раз покричала Наташа. И снова внезапная тишина. Мы тоже замолчали — может, браконьеры?

Уже пару лет район Сейдъявра является природным заповедником, здесь нельзя ни охотиться, ни ловить рыбу. Что вовсе не мешает местным жителям ставить сети. Тем более, что начальник Вдовин сидит в Ревде, а его подчиненные сами не прочь отведать свежего сига. В тундре лучше не проявлять назойливости, тем более, что человек ведь не затем уходит от других, чтобы в уединении его кто-нибудь донимал… В тундре иной этикет, чем в городе.

В общем, обход Сейдъявра занял у нас три дня, хотя само озеро длиной всего восемь километров, а в ширину — два (в самом широком месте). Мы шли так долго потому, что дорогу нам то и дело перегораживали ручьи, которые приходилось преодолевать вброд — сперва подыскивая удобное место для перехода, потом студя поясницу в ледяном потоке, затем, на другом берегу, согревая ее у костра. Моя поясница до сих пор помнит ручьи Мурнуай, Уэлькуай и Мочесуай, Сейдуай, Чивруай и Сейдъяврйок (этот был выше пупка), и, наконец, Куклухтнюнуай. Эти названия и выговорить-то непросто, а уж запомнить… Разве что поясницей!

Спустя три дня скитаний вокруг Сейдъявра, мы встретились снова. На этот раз издалека… Наташа первой заметила дым костра на другом берегу залива и две фигуры перед палаткой. Потом, подойдя к этому месту, мы никого не обнаружили. И следов огня не нашли.

В тот вечер, набирая воды для чая, я увидел в озере Духов светлое облако, которого не было на небе. Ли Бо мог мне позавидовать:

> Возношу то, за чем пришел —
> свет Облака в себе.

ПУТЬ ЛИ БО

И одиноко пью вино,
И друга нет со мной.
Но в собутыльники луну
Позвал я в добрый час
<…>
И снова в жизни одному
Мне предстоит брести
До встречи — той, что между звезд,
У Млечного Пути.

Ли Бо[108]

Он говорил о себе «ке» — гость, пришелец. В одном из стихотворений поэт писал: «Я вольная ладья, не знающая пристани». Ли Бо утверждал, что является потомком легендарного Лао-Дзы и примерял к себе фрагмент из «Дао Дэ Цзин» о «страннике, навеки утратившем возможность вернуться назад».[109] Собственную поэзию Ли Бо определял как «любовь к дороге, без отдыха для вдохновенного сердца». Он принадлежал к великолепной плеяде поэтов эпохи династии Тан.

Ли Бо появился на свет в 701 году недалеко от того места, где теперь расположен город Токмак (север нынешней Киргизии). Детство и молодость провел в Сычуани. Провинция славилась древними шаманскими традициями, сформировавшими даосизм. У даосских монахов Ли Бо учился каллиграфии и борьбе (школа «внутренней алхимии»), игре на лютне, медитации, географии, истории и искусству владения мечом:

В тиши я познал письмо и меч.

На протяжении всей жизни Ли Бо встречал на своем пути мастеров Дао и чань-буддизма. Порой и жил среди них некоторое время. Словно набирался сил перед тем, как отправиться дальше… Маршрут определялся иероглифом «вен».

Иероглиф «вен» может означать как литературное произведение и способ мышления, так и образ мира, расположение звезд, ритм гор и рек. «Вен» показывает, что узоры жизни, поэзии и Космоса родственны. Восходят к одному праисточнику.

Вот, например, отблеск луны, подобный осеннему инею, в «Ночных мечтаниях». Подымая глаза вверх, поэт видит луну, опуская вниз, — заглядывает в свое прошлое.[110] Отражение луны в воде отсылает нас к космическому пространству, осенний иней (время года, седина) — символизирует быстротечность человеческой жизни. Таким образом, одно пятно света рождает два разных узора.

С луной Ли Бо связывали особые отношения. Луна была не только героиней многих его стихов (в стихотворении «Под луной одиноко пью» поэт приглашает ее выпить вместе с ним и тенью…), но также вошла в легенды как причина его смерти. В 761 году Ли Бо утонул пьяным — якобы пожелав обнять отражение луны в реке. Хотя Григорий Чхартишвили[111] утверждает, что это был отнюдь не несчастный случай, а чрезвычайно изысканная форма самоубийства.

Пьянство Ли Бо также стало легендой. Выпивка была для него ритуалом, например, в праздник двух девяток (в девятый день девятого месяца по лунному календарю) поэт уходил в горы, чтобы на какой-нибудь вершине предаться одиноким возлияниям. Он пил рисовую водку, настоянную на лепестках золотых хризантем. Так Ли Бо очищал разум от лишних мыслей, а порой и успокаивал сердце.

Вековую скорбь долой —
избываем свои беды!
Выпиваем чередой
сто кувшинчиков вина.
Глубока, прозрачна ночь,
и чиста река беседы.
Ослепительна луна…
мы не спим или она?
С хмелю в горы забредем
и возляжем, где попало,
Изголовье — мир земной,
небо — чем не одеяло![112]

Алкоголь для Ли Бо не был пороком, напротив — он высвобождал в нем творческую энергию и полет фантазии. Временами однако возлияния доводили поэта до беды. Однажды за излишнюю откровенность Ли Бо оказался в тюрьме.

Ли Бо занимался шань шуй-ши, то есть «поэзией гор и вод» (не поэзией о горах и водах!): пейзаж в ней становится соавтором, поэт же выполняет функцию медиума, через которого говорит природа. Это род лирического созерцания пейзажа —

приближающийся к молитве. Следует заметить, что иероглиф «ши» состоит из двух графем: «слово» и «храм». Поэзия гор и вод оказывалась таким образом храмом слова, в котором поэт чтил вечную Великую Природу.

Жанр шань шуй-ши породила даосская и чань-буддистская практика медитации, заключающаяся в растворении границы между «я» и «не-я». Иначе говоря, в уединении, которое вмещает в себя вселенную. Ли Бо называл уединение в горах наполнением пустоты и, отсылая к Чжуан-Цзы, утверждал, что прежде всего нужно открыться самому, чтобы дыхание Великой Природы могло играть на тебе, словно на флейте, — как играет в расщелинах скал или в дуплах деревьев.

Это вовсе не означает, что Ли Бо был вечным отшельником. Периоды одиночества сменялись у него шумными пирушками — в Чандонге, где вместе с группой поэтов он создал цех «Шестеро отшельников из Бамбуковой рощи», при дворе императора Сюаньцзуна в Чанъане, где Ли Бо участвовал в заседаниях совета «Восьми бессмертных за чаркой», в состав которого входили придворные. В Ли Бо не было ни грана мрачного аскетизма. Он был типичным даосистом — человеком, повинующимся своей природе.

Лишь в поэзии он требовал от себя подлинной дисциплины и сдержанности. Это школа одного из мастеров внутренней алхимии, который каждую свободную от занятий минуту использовал для обтачивания огромного железного столба. На вопрос поэта, какова его цель, тот ответил, что хочет выточить иглу.

ПИРАС (I)
В лагере пастухов

Мы, лапландцы, подобны оленям: весной тоскуем по горам, зимой устремляемся в лес.

Книга Лапландии

На одном из саамских наречий слово «пирас» означает «семья» или «род». Семья ассоциируется с домом. Для северных кочевников родным домом была их кочевая тропа, обычно принадлежавшая семейной общине. Возникает вопрос — можно ли назвать сегодняшних кольских саамов кочевниками? Выяснить это я попытался в недавно образованной общине «Пирас». Это один из новейших гибридов постсоветской северной экономики — то ли частная ферма, финансируемая на западные гранты, то ли ООО. Но прежде всего следует уточнить понятие «кочевничество». В случае с саамами это вопрос непростой.

Специфический — полуоседлый, полукочевой — ритм жизни кольских аборигенов не раз заставлял исследователей возвращаться к проблеме саамского кочевничества. Идеи высказывались диаметрально противоположные, в зависимости от трактовки самого понятия, а точнее — от учитываемых при этом факторов: климата, почвы, ментальности, типов жилища и так далее. Итог дискуссии подвел в свое время Владимир Чарнолуский в монографии с длинным названием «Материалы по быту лопарей. Опыт определения кочевого состояния лопарей восточной части Кольского полуострова» (сегодня это библиографическая редкость). Советский этнограф собирал эти материалы до начала коллективизации (книга вышла в 1930 году), а потому имел возможность наблюдать более или менее естественный быт саамов, не искаженный большевистскими экспериментами. С другой стороны, однако, следует помнить о влиянии коми-ижемцев, которые прибыли на Кольский полуостров примерно за полстолетия до Владимира Владимировича и уже успели нарушить традиционный образ жизни местных жителей.

Описывая феномен кочевничества, Чарнолуский опирается на три фактора. Во-первых — кочевой образ жизни возможен как при выпасе оленей, так и при рыболовстве, охоте и даже при

зачаточных формах земледелия. Во-вторых — в зависимости от рода занятий кочевники пользуются различными типами жилищ — переносными и постоянными постройками. В-третьих, в течение года кочевники перемещаются в определенных направлениях по территории родовой общины, на которой расположены постоянные стойбища, соответственно сезону и роду занятий.

Исходя из этих факторов, Чарнолуский определяет кочевничество как «*образ жизни* людей в симбиозе с копытными, четко скоординированный с природными биологическими ритмами — нерестом рыб, течкой животных и вегетацией культивируемых растений, — которые определяют направление кочевий, а также места кратких или длительных стоянок» (выделено мною. — *М. В.*).

Таким образом, кочевничество — не способ заработать на хлеб, а специфический образ жизни целого рода, и следовательно, система выпаса оленей совхозными бригадами с кочевничеством несовместима. Семейная жизнь бригадных пастухов, то есть проведение досуга за бутылкой или перед телевизором, проходит в поселке и сосредоточена вокруг продмага, а сезонные поездки в тундру со стадами оленей напоминают скорее вахтовый метод работы нефтяников на буровых вышках Карского моря или геологов на Урале. Те тоже часть года проводят вдали от дома.

При таком подходе не только разрушается традиционный уклад кочевой семьи, в котором у каждого есть четко определенное место — в чуме (чем более уважаем член рода, тем ближе к огню он сидит) и при стаде; вымирают также традиционные формы кустарного промысла (шитье шкур, резьба по кости) и фольклора (песни, сказки), которыми кочевники занимались в свободное время. Не говоря уж об обрядах, связанных с домашним очагом, о культе предков и шаманской медицине. Кардинально изменилось и отношение к оленям: вместо подчеркиваемого Чарнолуским извечного симбиоза человека и животного — подсчет прибылей и убытков.

Другими словами, разрушая стержень кочевничества — кочевую семью, роль женщины в которой представляла собой уникальный реликт эпохи матриархата, советская власть практически полностью уничтожила сам феномен кочевничества на Кольском полуострове.

«Практически», но все же не полностью: недавно группа энтузиастов предприняла попытку возродить на Кольском полуострове традиционный выпас оленей. Благодаря поддержке Кобелева, президента Сапми, они получили большой датский грант на организацию пастушьей общины «Пирас» и арендовали

весьма лакомый кусок Ловозерских тундр. Что ж, времена для подобной инициативы как нельзя более благоприятные: совхозы изживают себя, не в силах адаптироваться к новым условиям, границы приоткрываются, а следовательно, легче получить помощь от скандинавских соплеменников. Плюс мода на культуру малых народов и туристичекий бум на Кольском полуострове. Только дурак этим не воспользуется.

Ясное дело, не обошлось без зависти и проклятий в адрес предприимчивых саамов. Каких только сплетен я не наслушался! Мол, организаторы «Пираса» грантовые деньги разворовали, а бедных пастухов оставили с носом. Еще они якобы дерут с русских туристов втридорога за поездки на оленьих упряжках, а с немцев («немцами» тут называют иностранцев) берут валюту даже за простой фотоснимок с оленем. И вообще, вся эта община — фикция для чиновников, у них и стад-то никаких нет, просто арендовали подходящие территории, чтобы устроить там туристические и лыжные базы. И так далее и тому подобное. Словом, не «пирас», а «пидрас».[113]

Признаюсь, меня заинтересовала как инициатива предприимчивых саамов, так и распространяемые о них слухи. И вместо того, чтобы отправиться на летний выпас с бригадой совхоза «Тундра», как планировал поначалу, я отправился к пастухам из общины «Пирас».

Лагерь «Пираса» расположен в юго-западном уголке озера Луявр у подножья горы Пункаруайв, почти напротив острова Колдун. Добраться до лагеря не так просто. Казалось бы, самое разумное — судя по карте — идти от Ловозера. Но летом без лодки это сложно, поскольку приходится полагаться на интуицию — дороги нет, то и дело проваливаешься по пояс, а зимой без «Бурана» — тоже риск, ведь нужно пройти на лыжах озеро Луявр вдоль, то есть около двадцати шести километров по открытому пространству, что, учитывая частую смену погоды (в любой момент может разразиться пурга или опуститься густой туман), представляет серьезную опасность. Я знаю, о чем говорю — бывал в «Пирасе» и летом, и зимой. Поэтому советую заранее договориться с пастухами, чтобы помогли с транспортом.

В первый раз мы прибыли туда в ягодный сезон. От устья ручья Сейдъяврйок, через который нас переправили на лодке сторожа из Мотки, оставалось пройти десять верст пешком. Вроде, ерунда, да только это расстояние измерено линейкой по карте, а шли мы, приноравливаясь к береговой линии Луявра. То есть путем более извилистым, чем в лабиринте. Да еще с озера ветер нес ледяной дождь, а на скользких камнях, окатываемых волнами, нога то и дело подворачивалась. Несколько раз мы

отступали от воды вглубь суши, но упирались в заросли танцующей березы[114] и непроходимые ягодники… Приходилось возвращаться на берег. Сколько продолжалась эта канитель — трудно сказать. Часы я не выношу, а небо было пасмурным, так что у солнца не спросишь. Наконец в очередной бухте мы наткнулись на две моторки, пустые ящики для ягод и пару жестяных бочек, брошенных на песок. Справа, откуда-то от подножья Пункаруайва доносилась рваная ритмичная музыка — русский рэп.

— Место нашли — лучше не придумаешь.

От лодок тропа вела по просторному ковру серебристого ягеля и красных кустиков. Пройдя двести метров, мы вышли к веже — полусфере с прорубленными в пожелтевшей березовой древесине окнами. Чуть дальше — брезентовый чум, рядом полевая кухня и два столба с фонарями, провода, генератор и умывальник на осине, развешанные на кольях сети, пара самоедских санок, «Буран» под навесом, поленница и топор, а также масса разбросанного повсюду барахла. Позже Валерий объяснял мне, что на мху вещи хорошо видны, не потеряются… Сбоку будка сортира под рябиной и яма для отходов. Вот и все стойбище.

— Добро пожаловать в «Пирас», — бросил, выглянув из вежи, коренастый мужик, — залезайте внутрь.

Это был Валерий Теплаков, по прозвищу Лемминг, главный пастух «Пираса». Один из создателей общины. Фигура, заслуживающая отдельной повести, особенно когда, познакомившись поближе, Валерий немного приоткроет тебе душу. Пока я знал о нем немного, причем слухов было больше, чем фактов. Наполовину русский, наполовину коми, сам себя считает саамом. Прозвищем обязан неистощимой энергии. Способен сутками ходить по горам в поисках стада. Кроме того, имеет черный пояс по дзюдо (сам Путин ему руку пожал!), был чемпионом и долгое время тренировал молодежь в Ревде. Там и женился — на одной из своих воспитанниц. Клуб выделил квартиру. Потом Валерий рассорился с начальством, оставил семью в поселке и отправился бичевать[115] по тундре. Трудно сказать, чем бы все это закончилось, если бы не «Пирас». Общине требовался именно такой человек, как он — одинокий, без жены (ведь какая жена сегодня согласится в тундре сидеть), к тому же оленей любит, умеет с ними договориться. А что не саам, так что ж… Настоящие пастухи среди саамов повывелись. Вот и все, что мне удалось узнать.

Позже, познакомившись и даже немного подружившись с Валерием (многими своими чертами Лемминг напоминал мне

товарищей-альпинистов из артели «Гданьск»),[116] я открыл в нем немало удивительного — глубокий ум и доброе сердце, но, пожалуй, больше всего привлекло меня то, что он читал. Особенно подаренная им книга — зачитанный до дыр, без обложки, весь исчерканный «Карманный оракул» Валтасара Грасиана-и-Моралеса.[117]

Сборник афоризмов испанского иезуита, представителя барочного концептуализма XVII века — у пастуха на Кольском полуострове? Фантастика…

Вежи у Кольских лопарей вышли из употребления в тридцатые годы прошлого века. «Последнюю вежу в Йоканде, — писал Чарнолуский, — разобрали в 1927 году. Еще несколько осталось в районе Семиостровска и Сосновки, но и они скоро разделят судьбу йокандской». Как утверждает советский этнограф, лопари предпочитали жить в тупах, небольших дощатых постройках, по форме напоминающих русские охотничьи избушки, только более примитивные.

Вежа была своего рода постоянной квартирой кольского кочевника, в отличие от куваксы, которую пастух возил с собой и разбивал в стойбищах или там, где заставала его непогода. По форме вежа напоминает конус. Основа — вкопанные в землю доски, они же служат обшивкой, не давай грунту осыпаться внутрь. Каркас тоже дощатый или из березовых жердей — нижние концы заколачивали в основу, а верхушки связывали вместе. Дополнительно конструкцию укрепляли поперечными ивовыми прутьями и прикрывали дерном и мхом, оставив в верхушке конуса небольшое отверстие дымника. Снаружи вежа выглядела, как огромный обомшелый камень или небольшой пригорок. Неудивительно, что в Европе о лопарях когда-то рассказывали, будто они живут под землей.

А может, мои ровесники узнают в этом описании шалаши, которые мы строили в детстве, когда телевизоров было мало и дети большую часть времени лазили по деревьям и играли в индейцев. Можете себе представить мои чувства, когда я впервые увидел древнюю лопарскую вежу. Нет, не эту, у подножья Пункаруайва, о ней ниже. Настоящую саамскую вежу я увидел в Ревде, в музее «Севредмет».[118] Более того, мне удалось в ней переночевать! Это была первая моя, незабываемая, ночь на Кольском полуострове.

Осенью 2005 года — закончив «Дом на берегу Онего»[119] и уже задумав новую книгу, я отправился на разведку в Ревду. Почему в Ревду, а не в Ловозеро? Потому что на Кольском я тогда никого больше не знал — у меня был только телефон Ивана

Вдовина в Ревде. Получил я его от московского этнографа Макса Кучинского. Макс уже много лет занимается саамами, одновременно являясь активистом российских «Хранителей радуги»,[120] которые заняты защитой природы и одновременно помощью малым народам Севера. Узнав, что я собираюсь писать о саамах, Кучинский дал мне координаты Ивана и лист коки, привезенный на счастье из Боливии, с какого-то сборища «зеленых»! Позже наши тропы не раз пересекались — то в Москве, в клубе ОГИ, то на Кольском…

Об Иване нужно рассказать особо… Выпускник московского горного института, в Ревду он приехал в 1980-е годы — на стажировку. Понравилось — рядом горы, дикая природа, а до Москвы всего два часа самолетом. Остался. Десять лет работал под землей, в забое. Еще четыре года трудился на поверхности, потом расстался с «Карнасуртом», но не окончательно — перешел в музей при комбинате, предыдущий директор которого переехал в Умбу. В музее Вдовин открыл в себе краеведа. Он организовал экспедиции, добывал экспонаты, даже фильмы понемногу снимал. Несколько его документальных лент показало по местному каналу мурманское телевидение (в частности, об аэродроме в тундре, который строили пленные поляки). Но всю жизнь сидеть в музее было скучно — неуемная энергия требовала выхода. Иван попробовал себя в политике, дошел до заместителя главы ловозерского региона, но вскоре понял, что политическая возня — не его стихия. Вернулся к природе — стал сперва директором заповедника Сейдъявр, затем возглавил все природные заповедники Кольского полуострова. Недавно купил дельталет (дельтаплан с мотором) и обозревает свои владения сверху. Все свободное время проводит в Интернете.[121]

Вдовин мне понравился сразу. Я почувствовал в нем родственную душу — сосредоточенность одинокого волка и нелюбовь к дешевой популярности. В Ревде Иван принял нас с распростертыми объятиями и сразу повел показывать музей. А показывать было что. Прежде всего — богатая коллекция минералов из Луяврурта — сотни экспонатов, в том числе куски «лопарской крови», крошки которой я не раз находил потом на берегу озера Духов. В мрачном закутке выставочного зала — лагерная экспозиция, оплетенная колючей проволокой. А в центре — словно только что из тундры — старая лопарская вежа.

— Последняя на Кольском! — сказал Иван.

Ее обнаружили в 1998 году на берегу озера Вудьявр (Болотистое), в среднем течении реки Поной. Полусгнившая вежа торчала среди болот. Было ясно, что так она долго не протянет. Сотрудники немедленно решили перенести вежу в музей. Но

каким образом?

Это были почти реставрационные работы. Нижний венец распадался в руках, каркас был примерно в таком же состоянии, в обшивке из дерна выросла березка. Эти гнилушки нужно было погрузить на вертолет. Перевезти на место и там сложить заново, словно трухлявый пазл. Представляешь?

Зато благодаря этому головоломному предприятию у вас есть возможность переночевать в последней настоящей саамской веже Кольского полуострова.

Потому что в музее Вдовина — и это предмет особой гордости хозяина — в отличие от всех других музеев на свете, к экспонатам можно сколько угодно прикасаться, ощупывать их, а вежей — даже пользоваться. Что ж, такой удивительный шанс мы упустить не могли.

И хотя все было не по-настоящему — вежа ведь стояла не в тундре, а на музейном паркете, внутри это не ощущалось. Наоборот, стоило нам через маленькое отверстие проскользнуть вовнутрь, очутиться среди оленьих шкур, как мы забыли об окружающей действительности и с головой погрузились в некий фантастический архетипический сон. Не зря Роберт Скалл[122] (упоминаемый Брюсом Чатвиным в одном из романов) в своей лекции в Метрополитен-музее утверждал, что «закапывание в землю — один из древнейших человеческих инстинктов». В музее Вдовина я смог в этом убедиться на собственной психике.

Ночью я встал по нужде. В туалет надо было идти через весь выставочный зал. В окна светила луна. В витринах сверкали минералы из Луяврурта: ильмайокит, карнасуртит, ловдарит, мурманит, сейдозерит, умбозерит, опал, эвдиалит, рамзаит и десятки других. Из лагерного угла доносилось чье-то тяжелое дыхание. Я вернулся в вежу и облегченно вздохнул.

Издалека вежа в пастушьем лагере под Пункаруайвом напоминала скорее кемпинговый домик эпохи раннего постмодернизма, нежели жилище северного кочевника. Разве что традиционно купольно-конусной формой — да и то вежа больше походила на иглу.[123] Почти вся из дерева и стекла (вежа полностью застеклена!), внутри — благодаря большим окнам на все четыре стороны — очень светло. Помню, что, привыкший к тусклому полумраку северных рыбацких избушек, я уже на пороге обратил внимание на свет: как раз выглянуло из-за туч солнце, его лучи буквально лились в окна, размещенные по окружности. Еще меня поразило, что вежа такая просторная. Я бы никогда не подумал — глядя снаружи — что внутри столько места.

В основании вежи — круг плюс две небольших

прямоугольных пристройки по бокам. Одна — что-то вроде прихожей: там висят пастушьи куртки, малицы[124] и дождевики, валяются болотные сапоги, валенки и пимы,[125] а также какие-то детали упряжи. В другой пристройке, задуманной как кухня, — маленький продуктовый склад (пищу готовят на железной печке в центре вежи). Вокруг печи — дрова. Справа на пол у стены брошены оленьи шкуры (на них — несколько заросших туристов из Мурманска, ненастье держит их тут, в неволе, уже неделю, потому что в такую погоду даже местный житель не рискнет переправляться на лодке через Луявр), слева маленький столик на троих, максимум четверых, небольшая скамейка да хромой табурет. Над столом висит индейский амулет из штата Мэн — «ловец снов» из кораллов и перьев — подарок канадца Джона. Раненого медведя, который уже неделю шатался поблизости, подстреленный каким-то незадачливым браконьером, отгоняли громким рэпом из стоящей во дворе колонки, провод от нее тянется под стол к усилителю.

— А зимой у вас тут тепло?

— А как же, я стены стекловатой утеплил.

Оказалось, что Валерий сам спроектировал и построил вежу на датский грант. Эту общину они организовали вчетвером три года назад. Он, Андрей Юлин, Муха и Галкин. Андрея выбрали председателем, потому что он, во-первых, мужик оборотистый и во всем этом разбирается — во всяких регистрациях, бухгалтерии и прочих бумажках, к тому же кое-как владеет английским и мир повидал, во-вторых — район Луяврурт принадлежал когда-то его роду. Самому Андрею на Сейдъявр нельзя (родовое проклятие — за то, что отдали свою территорию), но это вовсе не мешает ему заниматься делами «Пираса» в Ловозере, организовать и привозить туристичекие группы, рекламировать лагерь в Интернете, обеспечивать пастухов транспортом и снаряжением, а также ездить на международные конференции по делам малых народов Севера и представлять их интересы на семинарах, посвященных туризму на Кольском полуострове. Саша Галкин работает в одной из бригад совхоза «Тундра» и сюда наведывается лишь изредка. А нелюдимый Муха — свободный саам: с тех пор, как подшился (раньше пил без продыху), круглый год кочует по тундре с самоедкой Катькой. Так что за хозяина в лагере остается Тепляков. И хотя сразу находятся помощники, он все объясняет сам. Доходы члены общины делят между собой — в зависимости от участия в работе, а также числа своих оленей в стаде.

— А сколько у вас оленей?

— Это секрет фирмы.

Позже Валерий называл самые разные цифры — то ли

проговаривался по неосторожности, то ли проникся доверием: раз говорил о двухстах головах, другой — о двухстах пятидесяти, а порой, по его рассказам, выходили и все триста. Впрочем, оценить стадо — дело непростое. Попробуй сам — считают ведь всегда через бинокль, олени постоянно в движении да к тому же никогда не пасутся все вместе. Так что одну и ту же группу нередко считают дважды, а то и трижды. Плюс браконьеры, росомахи и волки. И приплод. Лишь зимой, когда оленей отлавливают и сгоняют с гор, можно реально оценить поголовье.

После первого нашего разговора с Валерием жизнь лагеря я представлял себе следующим образом. Сами они питаются, главным образом, рыбой — в Луявре огромное количество и сига, и щуки, и налима, и форели. И кумжа попадается, красная рыбка, — излишки улова продают в Ловозере. В ягодную пору сидят на ягодах — в буквальном смысле. То есть по целым дням не выходят из тундры, ползая в ягодниках с совками-граблями.

— Представь себе, что это за бизнес, если мужики за один сезон дома себе построили — на одних ягодах-то.

И от туристов копеечка-другая перепадает… Валерий за день в горах берет восемьсот рублей (почти тридцать долларов). Этакий северный шерп.[126]

Тащит провиант на всю группу, отыскивает дорогу и место для ночлега, разводит костер и следит за психологическим состоянием участников экспедиции — если надо, позаботится лучше родной матери. В одиночку ходить по Ловозерским тундрам нелегко — воздух здесь разреженный (как на высоте нескольких тысяч метров), погода чрезвычайно переменчива, нередки галлюцинации. Это горы Крайнего Севера — кроме железного здоровья, здесь требуются стальные нервы. В противном случае без Валерия Теплакова в горы — и думать не смейте.

Каждый заработанный рубль (доллар или евро) идет на продукты, которых в тундре не найдешь — хлеб, чай, сигареты, макароны, сахар и водку, а также на топливо для «Буранов», лодок и генератора. Случалось неделями жрать рыбу без хлеба и запивать ее настоем из листьев черники. Зато уж как попадется группа немцев, то вся кормежка — за их счет, причем весьма приличная: иностранцы привозят с собой всякие деликатесы — фрукты, швейцарский шоколад, голландский сыр, чешское пиво, порой виски, а сами заказывают традиционные саамские блюда — оленину, приготовленную на гриле, бифштекс по-лопарски, почки в пиве, гуляш a la Куйва, суп-лимм или дичь с морошкой.

— Скажу тебе прямо, Мар, обслуживание туристов — главный шанс общины. И ее будущее.

— А олени?

— Ну, кольские лопари никогда не разводили оленей на продажу. Держали столько, сколько нужно, чтоб самим выжить. Живой запас мяса, шкур для одежды и костей для кустарного промысла. Лопари жили охотой и рыбалкой. Оленей использовали, главным образом, как транспортное средство или как приманку на охоте. Поэтому каждой семейной общине хватало стада из нескольких оленей (в крайнем случае — нескольких десятков). И лишь когда на Кольский полуостров пришли коми, началась это гонка за увеличением поголовья — так называемая интенсификация разведения. Коми-ижемцы разводили оленей на продажу, подобно сегодняшним совхозам, мы же всегда держали оленей только для своих нужд.

— Мы — это кто?

— Саами по себе, — Лемминг хихикнул, — ясное дело, это каламбур. Где теперь найдешь настоящих саамов? Кровь перемешалась, гены выродились, традиции и обряды вымерли. Нельзя же назвать шаманским ритуалом то, что показывают в ловозерском Центре саамской культуры. Это как если бы ваш священник, ксендз или другой мулла служил где-нибудь в клубе — на потребу туристам. Представь себе исповедь или святое причастие понарошку. Как в кино. Вот и с пастушеством то же самое. Ты видел совхозные стада? Страшно сказать: олени там — скот, предназначенный на убой! А для лопаря олень был священным животным, братом, членом семьи. Ходили одним стадом. Неспроста кто-то из ученых сказал, что не человек приручил дикого оленя, а олени приручили людей.

— Как это понимать?

— А буквально.

— Давай о туристах…

— О них и речь. Подобно тому, как в прошлом мы использовали домашнего оленя, чтобы приманить дикое стадо, сегодня олени — главная приманка для немца. Ты себе не представляешь, как они обожают кататься на оленьих упряжках. Или мчаться на лыжах за оленем. Олень — наша марка, туристов привлекает не меньше экзотических гор. Потому я и говорю, что будущее общины «Пирас» — это туристы. Олени — это фольклор, который мы им впариваем: сувениры из шкуры или кости, театрализованные обряды, одежда и еда. Но весь этот бизнес крутится вокруг туристов.

— Ты сказал, что вы — «саами по себе», хотя сам ты не саам.

— Для меня саами — не раса, народ или род, а характер и образ жизни. Это бродяга тундры — сегодня тут, завтра там. Как мои олени — никто за ними не присматривает, сами пасутся в

горах, так и я тут живу, сам по себе.

— Раньше саамы «кружили тропу», так это называлось — я читал у Юрия Симченко. То есть время от времени меняли место обитания, в зависимости от нереста рыбы, линьки птиц. Сегодня о таком кружении говорить не приходится — как кочевать со всем этим барахлом, «Буранами», моторками, генератором и усилителем?

— Во-первых, озеро Луявр кормит нас круглый год, здесь столько сортов рыбы, что сегодня одна нерестится, через месяц — другая, а стало быть, нет необходимости перебираться с места на место. Во-вторых, времена меняются: когда-то саам кружил тропу в тундре, чтобы добыть больше жратвы или поймать своих оленей, а сегодня Юлин кружит в Интернете в поисках туристических фирм и немцев-оленей, ха-ха.

За ироническими интонациями Лемминга я почувствовал сомнения. Да и община, как мне показалось, когда мы с пастухами познакомились поближе, названа так от отчаяния. Что это за семья, в которой живут одни мужики?[127] Взять хоть жену Лемминга, которая одна в Ревде растит дочерей, пока Валерий живет здесь. С остальными — та же история. Андрей С. работал на лесозаготовках в северной Карелии, спился, жена бросила, с работы выгнали. Хорошо хоть, вспомнил о Кольском, где когда-то служил в армии. Теперь кухарит в «Пирасе». Или Сергей, мурманский диджей — ныне помощник «за все». Что-то он у себя в городе наворотил, кто-то его преследовал — не то милиция, не то мафия… Таких, как Игорь или Андрей, через «Пирас» проходит много. Некоторые исчезают, перекантовавшись пару дней, другие задерживаются надолго.

— Ты хочешь сказать, — подхватил я шутку Лемминга, — что Юлин — виртуальный номад?

— Современный номадизм — скорее состояние духа, чем подлинное кочевничество. Легко подстрелить птицу, летящую по прямой, труднее — ту, что кружит. Так и с нами.

В свой первый визит в «Пирас» мы с Наташей жили в чуме. В веже полно мужиков, и от аромата пропотевших онучей дух шел такой, что хоть топор вешай, но ведь чум — это же романтика! Просторные ложа из оленьих шкур, потрескивание дров, звезды в дымнике, тундра за брезентовой стенкой, запах копченого сига (час назад Валерий подвесил под дымник пару свежих рыбин) и упряжи. Словом, сказка.

Взгляд ограничен светом огня, дальше царит мрак — хоть глаз выколи. Чуть зашуршит в углу — тень Оадзи мерещится. Наташа спит, закутавшись в спальник. На дворе холод и ветер, а

брезент дырявый. Заглядевшись на пламя, докуриваю косяк. Трудно оторваться — языки огня лижут березовые щепки, перескакивая с одной на другую, то ярко вспыхнут, то погаснут. Щепки шипят, тут и там ползут ленточки дыма. Мерцают угли — то желтым блеснут, то красным, а порой тлеют голубым, точно газ. Меня уже давно влечет стихия огня, одного из элементов мира — наравне с землей, воздухом и водой. Может, поэтому я не хочу отдавать свое тело земле. Лучше в огонь! Не распад и гниение, а с дымком — фьють…

Из головы не идет последняя фраза Лемминга о птице, которую легче подстрелить в полете по прямой, чем когда она кружит. Что он хотел сказать? Андрей, жаривший налимью икру и слышавший наш разговор, пробормотал, что с кружащего мужика труднее содрать алименты. У кого что болит… Однако я не думаю, чтобы Грасиан-и-Моралес (а это его афоризм почти буквально процитировал Лемминг) имел в виду алименты. Должно быть, испанский иезуит думал о чем-то ином…

— Ты больше номад, чем они, — шепнула Наташа сквозь дрему. — Ложись уже.

— Сейчас, только докурю.

Да-а, в такой ситуации трудно быть кочевником. Избыток вещей делает человека тяжелее на подъем. Зависимость от бензина — сродни алкоголизму. Когда-то передвигались пешком — с вьючным оленем или ездили на упряжках, а сегодня без «Бурана» — ни шагу. То же на воде — когда-то ходили на веслах, а теперь на каждую лодчонку цепляют мотор. Вот и вкалывают, чтоб на топливо заработать. Причем это порочный круг: чем больше нужно денег на бензин, тем больше его тратишь в поездках за рыбой и ягодами с туристами (не говоря уж о том, что бочки с топливом тоже нужно сначала привезти). К комфорту легко привыкнуть даже в глухой тундре — электричество, музыка, стекловата. Скоро еще телевизор поставят. Без присмотра все это уже не бросишь…

Однако самая главная проблема для кочевника в тундре — отсутствие женщины. Речь не о сексе, с этим в поселке проблем нет. Я имею в виду домашний очаг, хранительницей которого всегда являлась женщина. В одной из повестей Чатвин рассказывает об индейцах мыса Горн: во время морских путешествий их женщины оберегали стоявшие на дне лодки сосуды с горячими углями. Вот ситуация, в которой присутствие женщины дает мужчине ощущение дома. Его дом не где-то там, далеко, в Ловозере или Ревде — он всегда рядом. Ведь дело не в том, чтобы иметь четыре бетонных стены с радио и телевизором. Дом бывает на колесах цыганской кибитки или под палубой яхты.

Важно повсюду, в любой географической точке чувствовать себя дома, а не в командировке, когда далекий — настоящий — дом вспоминается все более туманно… Смысл кочевничества — быть дома в пути! Вне зависимости от того, пасешь ли ты оленей, мысли или себя самого. Истинный дом — не временные, сменяющие друг друга стойбища, а вся жизненная тропа. Для этого нужна женщина, вечная хранительница домашнего очага!

(Прошу учесть: я прекрасно понимаю, что в нашу эпоху политкорректности такие вещи говорить не следует, поскольку геи могут почувствовать себя оскорбленными. Но — слава Куйве! — до Заполярья политкорректность пока не добралась. Ничего не поделаешь — я все ближе подбираюсь к Китаю, где по-прежнему верят, что инь дополняет ян, и все дальше ухожу от Европы, увлеченной концепцией целого, состоящего из двух ян.)

Я бросил окурок в огонь и улегся на шкуры рядом с Наташей. Засыпая, слушал песни Мари Боин из альбома «Gula gula». С этим великолепным диском я в последнее время не расстаюсь (как и с томиком Ли Бо). Так что, опасаясь долгой ночи под русский рэп, я извлек из рюкзака диск Боин и попросил Валерия, чтобы этой ночью раненого медведя отпугивали ее музыкой. Интересно, испугается медведь глухих ритмов «Gula gula» или наоборот — привлеченный их первобытным звучанием, подойдет поближе, чтобы насладиться сполна?

На следующий день мы вскочили чуть свет. Валерий обещал взять нас на пастуший обход района Суолуайва («Горы островного ручья»), где несколько дней назад дед Михаил из Индичйока («Ручей гольца») собирал ягоды и услышал выстрелы. Погода подходящая. За Пункаруайвом просыпалось солнце. Самого его еще не было видно, но из-за макушки шло сияние. Влажный ягель, утренний иней. Ночью ветер утих, и, хотя озеро, рассерженное вчерашним штормом, буквально кипело, уже можно было выйти на лодке.

Чтобы не топать лишние километры пешком, мы планировали пройти по Луявру к устью Индичйока, оставить лодку у Михаила и двигаться вдоль ручья, а затем подняться на хребет по восточному склону. На завтрак соленая кумжа — оказывается, ночью Сергей отвозил мурманских туристов в Ловозеро и привез оттуда «чуток» водки, теперь они на пару с Андреем «поправляются». Собираемся по-быстрому и — в путь.

Когда мы осторожно (камни!) входили в залив Индичйока, солнце уже наполовину выбралось на гребень Пункаруайва и слепило глаза. Цвета тундры издалека и против света — червленое серебро, темное золото и холодный лилово-розовый. На берегу лаяли собаки Михаила. Самого деда не видать.

Валерий сразу задал хороший темп. Он шел первым и в движении действительно напоминал лемминга. Скачет с кочки на кочку, под ноги не смотрит, словно знает дорогу наизусть, хотя — на самом деле — никакой дороги там нет. Не останавливаясь, миновали лесное хозяйство Михаила — замшелая изба, окруженная ивами, полевая кухня и поленница; Валерий проворчал, что дед-стахановец уже, небось, в ягоднике сидит. Несколько раз продирались сквозь чащу танцующей березы и порыжевшей пихты. Ветролом после прошлогодней лавины — и вновь заросли. Все больше камней и мха… Наконец сухая грязь! Валерий остановился и объяснил, что отсюда начинается территория общины. Мы присели на камень.

Община «Пирас» арендует у русских весь горный массив Луяврурт (около шестисот пятидесяти квадратных километров), кроме территории заповедника Сейдъявр. Между пастухами и заповедником сразу разгорелся конфликт интересов, постепенно переходящий в холодную войну. А тут еще Вдовин-младший (сын начальника заповедника) собрался жениться на старшей дочке Валерия — просто love story в стиле Ромео и Джульетты.

— У нас тут своя «Санта-Барбара», — ассоциации Лемминга из другой оперы.

Оленей в Ловозерских тундрах не пасут уже много лет. Последний луявруртский пастух умер в 1911 или 1913 году — точно никто не знает. Это был еще и последний нойд на Кольском полуострове! Он держал в Ловозерских тундрах стадо в две тысячи голов, а после смерти старика олени исчезли… Якобы он похоронен на Могильном острове. Коми-ижемцы его боялись. Говорили, что олени старика — заколдованные люди. Сами в горах паслись и прибегали, заслышав горловой йойк.[128] Краткие воспоминания помощницы и воспитанницы нойда — Павлы Ивановны Галкиной — записал Алексей Сахаров, инженер-геолог, работавший в массиве Луяврурт в 1930-е годы. На том месте, где стояла вежа нойда, Иван Вдовин сейчас строит сторожку.

— Мы тоже хотим увеличить стадо, — говорит Валерий. — Пока используется только юго-восточная часть массива — примерно до Тавайока. В прошлом году я обходил всю эту территорию с московским картографом Машей Березкиной, чтобы по составленной ею карте ягельников ученые в Москве могли рассчитать поголовье, оптимальное для экологии Ловозерских тундр. Для этого высчитывают, сколько квадратных метров мха требуется оленю в год, чтобы выжить, делают графики, таблицы, какие-то диаграммы вычерчивают и тому подобное. А наши предки жили здесь с эпохи палеолита и как-то справлялись без расчетов и формул, без всей этой научной схоластики.

— Теперь все про экологию толкуют. Модно… А ведь добывая лопарит, и так весь Луяврурт засрали.

— «Зеленые» — ладно, черт с ними. Настоящая чума — это туристы! Ведь если мы хотим расширять пастбища, придется ставить вежи в горах. Имея только одну базу, Ловозерские тундры не обойдешь. А сволочам-туристам наплевать. Придут, выпьют, переночуют, что-нибудь сопрут или вообще спалят по пьянке, а нет — так хоть поломают да нагадят. Теперь такой турист пошел — волосы дыбом встают. При каждой веже придется сторожа держать.

Мы двинулись дальше. Перед нами безлесье Суолуайва — скальные плиты, олений ягель да ягодники. Чем выше, тем круче… Лемминг еще ускоряет шаг. Поднимаясь следом, я буквально истекаю потом. А он на ходу еще ягоды поклевывает. Словно пасется.

Выше ягодники кончаются. Зато ягеля все больше. Как и скал. Поднимается ветер. Под самой вершиной — скальная ниша. Привал. Валерий вынимает из рюкзака двухлитровую бутылку пива, колбасу из оленины и чеснок. Наташа ставит на скальную полку термос с зеленым чаем и раскладывает наши запасы: банку печени трески и два пласта лосося, хлеб, заонежский мед, шоколад и орехи. Второй завтрак пастушка.

Жуя, Лемминг оглядывает в бинокль окрестные склоны, высматривает оленей. Между глотками пива сканирует гряду за грядой, расселину за расселиной, долго изучает каждую кегору, порой вглядывается в одну точку и, пережевывая колбасу, медитирует. Мы тем временем наслаждаемся видом сверху. Еще раньше, на Ямале, увидав тундру из иллюминатора вертолета, я подумал, что вижу земную кожу — всю в крапинках водяных драгоценных камней. Здесь это ощущение еще сильнее. Кажется, в любой момент ландшафт встрепенется и задышит.

Справа — ультрамариновая бесконечность озера Луявр, испещренная желтизной бесчисленных островков, за ним в пепельно-сизом тумане на горизонте маячит цепь Панских тундр. Прямо под нами — зеленая замша болота с лабиринтом вод, в которых движется и бликует солнце. Это болотистые озера — Нижнее и Верхнее Яичное, Саранчозеро, Пунчозеро и несколько десятков безымянных — словно осколки разбитого зеркала. Справа — сверкающая гладь Умбозера и вал Хибинских тундр на дальнем плане. Ради такой картины можно и попотеть.

До макушки Суолуайва остается несколько сот метров все более пологого — то ли склона, то ли уже хребта. Территория выровнялась, скальных стен все меньше, лишь отдельные обломки, и, наконец, мы выбираемся на… небесное пастбище!

Над головой небо, под ногами — огромные поля ягеля.

В жизни не видел ничего подобного! Перед моими глазами — бесконечная равнина, такая широкая и плоская, что если стоять в центре, не видно долин по краям, только в отдалении — цепи гор, словно привидения. Все покрыто пенкой бело-голубого мха до середины икры. Кое-где из мха торчат серые камни. Как в Саду дзен в Киото.

— Ягель действительно голубой или это небо в нем отражается?

Олений ягель пружинил и хрустел под ногами, на вид казался аппетитным. Хотелось припасть к нему и попастись.

— Лучшие кегоры на Кольском полуострове, — заявил Леминг. — Нигде больше таких не осталось.

— Почему?

— Во-первых, это идеальное место для ягеля. Ягель любит сухие поляны, на болоте расти не будет. Там даже если солнце его и просушит, то олени копытами пробьют подушку мха, и свежий влажный воздух пойдет вниз. А во-вторых, тут давно не паслись большие стада. Видишь ли, если ягель вытоптать «до черной тропы», то есть до голой земли, то при благоприятных условиях он вырастет снова не раньше, чем через пятнадцать-двадцать лет. Саамы пускали небольшие стада пастись самостоятельно. Олень — умное животное, умнее человека: тут щипнет, там поест, затаптывать не станет. А когда коми-ижемцы, а потом колхозы и совхозы начали выпасать свои огромные стада на Кольском, о ягеле никто не думал. Все только поголовья подсчитывали.

— То есть то, что Ловозерские тундры сделали закрытой зоной, отчасти пошло им на пользу?

— В этом смысле — да.

Я решил сфотографировать эти поля. Кто знает, сколько еще продержится в таком девственном состоянии последняя кегора Кольского полуострова? Опустился на колени на мягкий мох, словно для молитвы, потом вытянулся в полный рост и… забыл про фотоаппарат. Прижался лицом к хрустящей подушке, оттуда пахнуло диковинным ароматом — словно запахом первозданности, — у меня аж в голове закружилось и я мгновенно погрузился в какой-то колодец иных времен. Может, то была эпоха первых охотников, а может, я видел олений сон? Не знаю, сколько это продолжалось. Вырвал меня оттуда голос Валерия, а точнее — его мат.

— А-а, суки ё…!

Я вскочил, кинулся к нему. Валерий стоял над глубоким следом шин. Браконьеры.

— Как же они сюда забрались?

— С той стороны, — он махнул рукой в западном направлении, — там старая дорога геологов, а дальше пологий склон. Для джипа — не проблема.

Колея, словно двойной шрам, тянулась по ягелю от долины Индичйока, делала петлю на хребте Суолайва и спускались обратно. Мы пошли по ней. Ниже, метрах в стах, Лемминг нашел на мху олений ошейник с клеймом Галкина.

— Вот Саша обрадуется…

Идти дальше не имело смысла. Напуганные браконьерами, олени еще долго будут избегать этих мест. Мы возвращались в лодку, точно после похорон.

У браконьеров и пастухов «Пираса» силы неравные. В распоряжении богатых охотников, любителей свежей оленины и сильных ощущений — «лендроверы» и «тойоты», а также деньги на взятки милицейским патрулям и чиновникам. Пастух может противопоставить этому только собственные ноги. Ведь если не схватишь браконьера на месте преступления, то — даже если его остановит патруль — как докажешь, что туша в его багажнике — не дикого оленя? Поэтому они сразу избавляются от ошейников с клеймами, а если клеймо стоит на ухе, то отрезают убитому оленю голову.

В тот день ужин в лагере напоминал поминки. С каждой очередной рюмкой Валерий все больше расходился — то крыл матом браконьеров, то благодарил Куйву, что не Пылесос стал их жертвой. Пылесос — любимый олень Лемминга, вожак в упряжке. Сейчас он гуляет в горах, потому что гон. Когда-то он спас Валерию жизнь.

— Мы спускались вдвоем по расселине Ферсмана и в какой-то момент Пылесос уперся передними ногами, точно осел — не идет и все тут. Я к нему и так, и сяк, и лаской, и матом, уже хотел кулаком врезать, а тут лавина пошла! Аккурат в том месте, где я собирался переходить Ферсмана. Представляешь, Мар? — обратился он ко мне.

— Олень умен, как человек, — добавил кто-то из тени. — К тому же не утратил интуицию. Которой нам не хватает.

— Давайте за того, кого больше нет!

Лишь закусив, я осознал, что впервые в жизни выпил за оленью душу.

ЧАТВИН, БРОДЯГА

Однажды бабка Рут сказала, что когда-то наша фамилия произносилась «Четтвинд» — в переводе со староанглийского это означает «извилистая тропа». С тех пор мне кажется, что поэзия, мое имя и дорога связаны воедино — тайно и неразрывно.

Брюс Чатвин

Дух Чатвина, английского писателя, путешественника и барда дороги, сопровождает меня на протяжении всей моей саамской тропы, а с его «Тропами песен» я не расстаюсь, словно христианин с молитвенником. И неслучайно, ведь из всевозможных верований, книг древних мудрецов и трудов мистиков Брюс выбрал сюжеты путешествия (повести, поучения, сентенции) и составил антологию для тех, кто исповедует путь. «Тропы песен» выстраивают его собственную теологию бродяжничества.

Вот несколько примеров. Гаутама поучал: «Прежде чем ступить на дорогу, надо самому сделаться дорогой», а его последним напутствием ученикам стало: «Идите!». «Яхве был богом пути. Его храм — переносной ковчег. Дом — палатка». Христос: «Я есмь путь». Исламский хадж — священное путешествие, а иранское слово «rah» («дорога») первоначально означало «тропу» и «тракт», лишь позже став синонимом мистического «Божьего Пути». «Жизнь подобна мосту, — гласит индийская пословица. — Перейди по нему на другую сторону, но не строй на нем дом». И так далее… Это первые попавшиеся примеры из «Троп песен».

Однако сами кочевники, — заключает Брюс, — люди «решительно нерелигиозные». Храмов не ставят, алтарей не возносят, икон не чтят, святых ликов не целуют. Обряд у них заменен скитанием. Дороге нельзя молиться в церкви. Дорогу следует пройти самому и самому же пропеть. Поэтому свое имя Чатвин связывал как с Дорогой, так и с поэзией. Он утверждал, что пением человек не просто превозносит все сущее, но песней

своей создает мир.

Автор «Троп песен» вовсе не ограничивается выдержками из канонических текстов главных мировых религий, цитатами из поэтов и мудрецов прошлого. Он также обращается к современной науке. В частности, к новейшим исследованиям эволюции человека, согласно которым «ходьба на двух ногах дала возможность развиться создающей ладони, что, в свою очередь, привело к увеличению объема мозга». Всюду — в археологии, этнографии, психологии, биологии и лингвистике — Чатвин искал подтверждения тому, что появлением homo sapiens мы обязаны кочевничеству! Более поздний феномен оседлости — признак вырождения.

Эти выписки Чатвин иллюстрировал примерами из собственных путешествий и наблюдений. Он, например, заметил, что младенцы аборигенов не плачут, пока мать двигается с ними на руках. Однако стоит ей на мгновение присесть, как из свертка раздается крик. Отсюда европейские колыбельки, коляски, лошадки-качалки и прочие атрибуты детства, имитирующие ритм Дороги и позволяющие вырваться из плена собственного тела. Подрастая, европейские дети приникают к телевизору. Чатвин утверждает, что ритм ходьбы присутствует у нас в генах, в архетипической памяти. Навыки цивилизации вытеснили его из сознания, породив сплин. Поэтому лучшее лекарство от депрессии, вызванной оседлым образом жизни, — путешествие.

— Человеку всегда следует полагаться на собственные ноги, — повторяла хранительница тайны пампасов, одна из наиболее живописных фигур Чатвина.

Брюс Чатвин верил в магическую и терапевтическую силу ходьбы. Впрочем, не он один… В книге «Что я тут делаю?» писатель рассказал занятную историю из жизни Вернера Херцога.[129] Узнав, что его подруга, Лотта Эйснер,[130] при смерти, немецкий режиссер отправился пешком — зимой, по снегу — из Мюнхена в Париж, глубоко убежденный, что таким образом сумеет отогнать от нее болезнь. И действительно — Эйснер стало лучше, и она прожила в добром здравии еще десять лет!

Читая «Тропы песен», я не раз поражался сходству чатвинских аборигенов и моих саамов — аборигенов Севера. Отличает их, в сущности, только климат и некоторые второстепенные реалии. В том же, что касается мировосприятия, анимизма и веры в тотемных предков, отношения к природе (или — шире — к Земле!), а также положения, в которое их поставили белые люди, — это вылитые мои саамы! Впрочем, Чатвин сам упоминает лапландские «поющие камни», о которых рассказывали ему финские журналисты, и проводит аналогии между саамскими

сейдами и австралийскими «следами предков».

Мне импонирует отношение Брюса Чатвина к австралийским аборигенам: не свысока, с позиции представителя мудрого Запада, а с точки зрения человека, которому приелась больная западная цивилизация. Я разделяю его симпатию к «приземленному» мышлению аборигенов, которые полагают, что «ранить землю — значит ранить самого себя», и тоже считаю, что, направляя всю психическую энергию на сохранение мира, аборигены делают больше, чем белые люди, пытающиеся во что бы то ни стало мир изменить. Не говоря уж о таких деталях, как замечание Брюса, что язык аборигенов родился из подражания птичьему пению (близкое моим мыслям о происхождении саамской речи от голосов тундры) или же важное для нас обоих ощущение, будто ночуя в палатке под звездным небом, мы возвращаемся в родной дом.

И, наверное, неслучайно, мы оба любим китайского поэта Ли Бо эпохи Тан — исповедавшего даосизм и скитание по горам.

Однако прежде всего нас с Брюсом роднит идея того, что основополагающее право каждого человека — жить в нищете, если таков его выбор! На каждом шагу обнаруживая следы разорения Севера белым человеком в погоне за нефтью, газом или рудой, разрушение — при помощи «цивилизации» белых людей — ментальности аборигенов, я подобно Чатвину в «Тропах песен», думаю, что «если у этого мира вообще есть будущее, то это аскетизм!». Причем нам обоим известно, что мыслим мы «против течения».

Герой «Троп песен» Чатвина, монах-отшельник, автор «пособия по нищете», поучал, что вещи наполняют людей страхом. Чем больше у человека вещей, тем больше он боится их потерять, становясь в конце концов рабом собственных опасений. Интересно, что при этом персонаж Чатвина, отец Теренсе, восхищается XX веком, потому что тот впервые в истории человечества позволил людям жить, не владея буквально ничем. Над этим стоит задуматься.

Навязчивой идеей Брюса была тайна беспокойного духа, который живет в человеке и заставляет его скитаться по миру. Чтобы разгадать ее, английский писатель сам сделался бродягой. Где он только не бывал: Патагония, Сахара, Австралия, Россия, Китай, Гималаи… Особенно его интересовали люди Пути. Он собирался написать книгу о номадах. Спустя годы путешествий он прочитал слова из китайской «Книги песен»:

> Напрасно просить совета у скитальца,
> Когда возводишь дом.

Строительству не суждено закончится.

И тогда он осознал абсурдность этой идеи. Книгу о людях Пути написать невозможно. Можно лишь записывать собственную тропу, оставляя едва заметные следы — ряд «неоконченных» книг. Ведь закончится наша тропа лишь с нашей смертью.

Я смотрю на фотографию Брюса на обложке его биографии, написанной Николасом Шекспиром: потусторонний взгляд, кожаная куртка, рюкзак и ботинки на шее. Может, он как раз выходил от монаха: «Я снял ботинки, связал их шнурками и повесил на шею. Нагретый песок просыпался у меня меж пальцев». Думаю, больше всего Чатвину подходит слово «странник».

Странник — человек, порожденный Дорогой, и Дорога, вырастающая из человека.

ПИРАС (II)
На тропе оленей

Скажи, мудрый человека, где они — ведь если мы есть, то и олени должны быть, а если их нет, так существуем ли мы сами?

Сказка о Мяндаше

Первых своих оленей на Кольском полуострове я увидел перед деревянным зданием железнодорожного вокзала в Оленегорске. Они стояли на гранитном постаменте, отлитые из чугуна и выкрашенные серебрянкой. Словно двое чекистов на памятнике в Великой Губе.

Зимой в Ловозере олени встречались на каждом шагу — одни, свесив языки, тянули сани, другие покорно ждали своей очереди на бойню. На праздник Севера в конце марта в село съехались из тундры оленьи упряжки, чтобы принять участие в больших весенних гонках. В ночь накануне соревнований кто-то убил всех четырех оленей прошлогоднего чемпиона. Случай беспрецедентный — вот ведь времена настали! Убить ездового оленя ничего не стоит — протяни руку, и ручное животное само пойдет к тебе, надеясь на угощение.

Смотреть совхозные стада не хотелось — хватит с меня фильма Вдовина об осеннем сгоне. На экране загоняемые в корраль[131] олени напоминали колхозных коров, а не гордых царей тундры.

Поэтому я с радостью принял предложение Лемминга — отправиться вместе с ним на предзимний обход Ловозерских тундр. Тем более, что как раз в это время собирался приехать Тадек Михальский (брат Янека) из Парижа, и я подумал, что хорошо бы показать ему Луяврурт с опытным проводником. А для меня это была последняя возможность увидеть оленей на воле.

С Янеком Михальским я познакомился в Варшаве осенью 1998 года. До этого мы несколько раз обсуждали по телефону планы издания французского перевода «Волчьего блокнота».

Мы встретились на улице Фраскати — в бывшей вилле Любомирских, где располагался офис издательства «Noir sur

Blanc», со временем ставший для меня вторым домом. Янек сразу пришелся мне по душе. То, что по-русски называется — «настоящий мужик». Сильный, с открытым лицом. По крепкому рукопожатию я почувствовал, что в нем живет тот же беспокойный дух, который не давал покоя Чатвину.

— Здесь Гомулка держал своего пса, — вместо приветствия сказал Янек, махнув рукой в направлении особняка, — там возле виллы стояла его будка.

Мы быстро подписали бумаги (аванс дал мне возможность, вернувшись на Север, сосредоточиться на «Волоке», не заботясь о пресловутом хлебе с маслом), после чего Янек пригласил меня на русские вареники в SPATiF.[132] Закусывая этими варениками (кстати, отличными) водку, мы перескакивали с одного на другое (как обычно бывает, когда видишь человека впервые, но такое ощущение, будто вы знакомы многие годы), однако главной темой были путешествия. Именно тогда Янек открыл мне Николя Бувье (одного из величайших мастеров Дороги…) и рассказал о своей встрече с тогда уже тяжело больным писателем, незадолго до его смерти. Приканчивая графин, мы принялись строить планы совместных странствий. Речь шла о Новой Земле, Земле Франца Иосифа или Кольском полуострове. Остановились на Кольском.

Мы собирались начать с Соловков, на яхте вместе с Василем обойти вокруг Кольского полуострова, добраться до Мурманска, а оттуда по суше отправиться в Ловозерские тундры. Потом Ясь много раз звонил мне на Соловки, расспрашивал о Васе, интересовался, как идет строительство новой яхты, мы обсуждали детали экипировки. Иногда рассказывал о своих путешествиях — то он только что вернулся с Кордильер, то собирался на Северный полюс. Наша экспедиция на Луяврурт по разным причинам все откладывалась. И вдруг Янека не стало.

Прошло несколько лет.

И вот я познакомился с Тадеушем Михальским, приехавшим из Парижа на Варшавскую книжную ярмарку. После презентации «Дома на берегу Онего» в книжном магазине «Нежный варвар» мы пошли ужинать в ресторан «Диспенса». Уж не помню, чем мы угощались — слишком долго живу в тундре, чтобы оценить вкус лангустов, а разговор зашел о Янеке и былых планах. Тадек оживился.

— А может, мне приехать к тебе в Ловозеро?

— Почему бы и нет?

Глаза Тадеуша — точь-в-точь, как в свое время у Яся — заблестели в предвкушении приключений, и до самого конца ужина мы, не обращая внимания на официантов, бродили по Ловозерским тундрам.

Я словно вернулся в прошлое. Снова маршруты и экипировка, прогнозы погоды и меню. Казалось, Янек сидит рядом и, поглядывая на нас, удовлетворенно улыбается — наконец, мол, наши планы воплотятся в жизнь.

С Тадеком мы условились встретиться «на порошу» — когда в горах выпадет первый снег. Самое лучшее время для свидания с северным оленем.

В России Тадек никогда не был. Тем более — в провинции. Можете себе представить, как он был поражен, впервые соприкоснувшись с русской глубинкой. Да еще столь специфической! Сперва огни военных баз в пустынной тьме за окнами машины на шоссе Оленегорск-Ловозеро (по дороге Валерий пытался что-то рассказывать, но с русским у Тадека не очень, к тому же громко играла музыка), потом привальная, то есть большая пьянка по случаю приезда (северные традиции), а утром — трое пьяных саамов и похмелье в гнусной комнатке с видом на паскудный поселок. И ощущение, что Париж остался где-то в другой жизни.

Однако Тадеуш держался молодцом, не подавал виду, что потрясен встречей с северной реальностью. Лишь потом он признался, что при виде лодки, на которой мы должны были плыть в лагерь «Пирас», у него ноги подкосились. Суденышко и впрямь доверия не вызывало.

— У нас ни одна туристическая фирма не позволила бы себе такого. Потом ведь придется платить по страховке.

По дороге мотор несколько раз глох — то свечи заливало, то стартер подводил — приставали к берегу, Лемминг принимался за ремонт, так что по озеру мы поболтались порядочно. Но до лагеря под Пункаруайвом добрались целыми и невредимыми.

Принимали нас по-царски: малосольная икра кумжи и уха из налима плюс форель и жареный сиг. На столе была даже приготовленная на гриле оленина, хотя до забоя еще далеко. Хозяева постарались — не каждый день случаются гости из Парижа. Тадек раздал гостинцы. Валерке пришлась по вкусу шотландская водка, Серега предпочел свою, родимую, а Андрей забраковал «галуазы» — мол, «беломору» и в подметки не годятся. Первый лед был сломан.

За ужином Лемминг изображал из себя саамского сказочника и развлекал Тадеуша забавными историями из жизни пастухов, а я пытался выступить в роли переводчика-синхрониста. Но как передать нюансы русского языка — пластичного, позволяющего гнуть себя и переиначивать, да еще окрашенного «саамизмами» и местным сленгом? Вот, к примеру, рассказывает Валерий о всяких

психах, что медитируют на Нинчурте (якобы «Горе жизни»): не раз, кочуя за стадами, он издалека принимал за пасущихся оленей неподвижно сидящих в позе лотоса людей. И лишь подойдя поближе, обнаруживал, что это снова кто-то «мудитует». Попробуй объясни, что в слове «мудитирование» скрыта ирония, отношение саамского пастуха ко всевозможным нью-эйджам.

Наконец Тадеуш, устав от впечатлений, отправился в чум спать, а я остался ночевать в веже, чтобы дать ему возможность побыть наедине со звездами, заглядывающими в дымник. После ухода Тадека компания расслабилась. Парижанина пастухи немного стеснялись, а теперь можно было «догнать» и дать волю языку.

— Русский без мата много не расскажет, — подытожил Андрей и поведал нам забавную байку из жизни карельского лесоповала. Дело было под Повенцом, где во время финской кампании проходила линия фронта. В шестнадцати верстах работала другая бригада. Однажды те парни приехали к ним похвалиться находкой — финским автоматом. Обнаружили его в кроне огромной сосны, которую свалили накануне. Автомат даже не до конца проржавел.

— Небось солдат повесил на дерево, а потом погиб или в плен попал, а сосна росла-росла… — вставил Серега. — Давайте за солдата, пусть земля ему пухом будет.

— Они этот автомат продали одному коллекционеру из-под Олонца, — продолжил свой рассказ Андрей. — Купили ящик спирта и так упились, что барак спалили напрочь. Трое мужиков живьем сгорели.

— То есть финский автомат свое дело сделал и русских положил, — прокомментировал Лемминг. — Давайте теперь за наших.

Зарывшись в кучу мягких оленьих шкур, прислушиваясь к разговору, я медленно погружался в сон. Эту мужскую манеру и раскованность, возможные только там, где мужчины вынуждены обходиться без женщин, я помнил еще по артели «Светлячок» (потом переименованной в «Гданьск»). Сколько же раз после тяжелой работы на заводской трубе или крыше, в Явожно или Беляве, мы собирались всей бригадой за пивом и болтали часами, не заботясь о правдоподобии своих баек. Мне даже показалось, что я слышу голоса не Лемминга, Сергея и Андрея, а Робаля, Седого и Туска. Интересно, отыскал уже кто-нибудь из них своего оленя?

Погода в Луяврурте — лотерея. За час может поменяться несколько раз — то солнцем порадует, а мгновение спустя снегом

засыплет, то затянет туманом только что кристально прозрачный мир — вне зависимости от времени года. Эти неожиданные смены погоды унесли жизни не одного туриста… Не так давно на перевале Чивруайладе в июльской метели погибли от переохлаждения трое опытных московских альпинистов, а ведь у них за плечами была не одна серьезная вершина в горах более высоких, чем Луяврурт. Тела обнаружили лишь осенью.

Да что там, мы с Наташей тоже пережили здесь жуткие минуты. Снежная буря застала нас на перевале Эльмарайок бабьим летом прошлого года, на обратном пути из Сейдъявра. До шахты «Карнасурт» — рукой подать. И вдруг — буквально в мгновение ока — начался ад. Снег по лицу хлещет, ураганный ветер валит с ног, видимость нулевая. Мы чудом добрели до бюро пропусков, где нас отогрели чаем и по телефону вызвали такси — пройти несколько десятков метров до автобусной остановки мы уже не могли. Это был хороший урок. Я на собственной шкуре убедился, что горы Севера гораздо более опасны, чем кажутся на первый взгляд.

Глядя теперь на снежные плюмажи, взметающиеся на гряде Пункаруайва, я вспоминаю тот кошмар. Из-за Нинчурта ползут тяжелые тучи. Молчаливая мощь горных колоссов рождает тревогу. Мы заканчиваем сборы.

Валерий — в юфтовых сапогах чуть ли не до подмышек, в куртке с капюшоном, за пазухой бинокль, на поясе два ножа и шаманские амулеты — какие-то бусинки на причудливо сплетенных ремешках, магические знаки на костяных брелоках — такое ощущение, что он вырядился специально ради нашего парижанина. А может, эти украшения помогают отыскивать оленей? И отпугивать злых горных духов? Еще у Валерия за спиной ружье и брезентовый вещмешок.

Тадек облачился в ярко-красную куртку и шляпу с широкими полями. Это хорошо, в случае чего не потеряется на снежной белизне.

Я затягиваю рюкзак. Андрей с Сергеем остаются в лагере. Мы обещаем вернуться назавтра к вечеру. Салют!

Сразу за лагерем выходим на вырубленную в густом сосняке широкую просеку, которая поднимается по склону Пункаруайва вертикально вверх. Ее сделали специально для оленей. Снегу пока немного, лишь чуть-чуть припорошило ягодники. Темно-сизые шарики голубики — пузырьки замерзшего сока — тают во рту, словно леденцы с божественным ароматом.

По оленьей просеке выходим на траверс,[133] огибаем макушку Пункаруайва и выбираемся на обширное плато, соединяющее Пункаруайв с Нинчуртом. Справа внизу шумит

Куансуай, стекающий между двумя вершинами Женской Груди. Словно кто-то льет струйку шампанского. Первый привал.

— Видите стаю воронов? — спрашивает Валерий, махнув рукой по направлению к Энгпорр. — Возможно, там олени.

По рыхлому снегу пересекаем плато. Ветер усиливается. Тадек немного отстает. Дышит он явно с трудом. А ведь это только начало пути. Я с тревогой думаю, что мы не дали ему времени акклиматизироваться. Но с другой стороны, откуда взять это время? Типичный представитель Запада, Тадеуш с трудом выкроил две недели отпуска, чтобы приехать сюда. Ничего удивительного, что он хочет использовать их на полную катушку.

Лемминг — видимо, почувствовав мое беспокойство, — объявил очередной привал. Тем более, что поднимается метель и вокруг ничего не видно. Мы прячемся в овраге русла Куансуай, в скальной нише. Последняя возможность повернуть назад… решение должен принять Тадек, только он может реально оценить свои силы.

— Идем дальше, — Тадек не сдается, хотя на крутую стену Нинчурта, которую нам предстоит одолеть, поглядывает с опаской.

— Ну тогда, господа, вперед — на Чертовы Сиськи, — засмеялся Валерий, возвращаясь к роли гида-весельчака.

Пурга утихла… Мы допиваем чай. Лемминг идет первым. Осторожно, выбирая необледеневшие камни, переходим Куансуай и, по пояс в снегу, начинаем восхождение на Нинчурт. С каждым метром за спиной открывается все более широкая панорама — неземной пейзаж. Летом или осенью тут можно увидеть признаки жизни — хотя бы мох и лишайник, — а сейчас пусто. Голые скалы среди мертвой белизны. Чем же объяснить это специфическое чувство пустоты Луяврурта? Ведь ни на Кавказе, ни на Тянь-Шане я ничего подобного не ощущал, хотя горы там значительно выше. Может, действительно преддверие того света? Или его предчувствие?

И вдруг в этой пустоте — какое-то движение. Почти над самой головой (склон в этом месте особенно крут) я краем глаза замечаю, как на белом фоне шевелится что-то белое. В первый момент я подумал, что это олень — вспомнил рассказ Валерия о том, как он все ноги исходил в поисках стада, а олени сами вышли к нему из-за скалы, под которой он присел передохнуть. Но это оказался беляк, не меньше нашего изумленный неожиданной встречей. К счастью, Лемминг не успел прицелиться в удивленную мордочку. Она исчезла, словно привидение.

Чем выше, тем сильнее ветер. Наконец склон начал выравниваться, переходя в обтекаемое плоскогорье с каменной

пирамидой в центре, издалека действительно напоминающей торчащий сосок. Валерий что-то толковал про животворную гору, про мифы рождения и кормления духов, про то, что на противоположном берегу Убозера есть похожая Гора смерти, а между ними, словно незримый кабель высокого напряжения, проходит жизненная тропа, но вихрь заглушал его слова и я мало что понял в этой магической триангуляции. От ветра никуда не спрятаться. Хоть бы излом или ниша в скале… Не останавливаясь, переходим хребет и лишь на склоне Нинчурта, со стороны Сейдъявра, обнаруживаем укрытие — просторную нишу под снежным козырьком, наметенным бураном. Можно выпить чаю, передохнуть и оглядеться. А посмотреть есть на что!

Перед нами простирается один из величайших языческих храмов Европы — священное озеро саамов. Справа Мотка, вход в храм, над ней словно бы нависает Куамдеспахк, гора Шаманского Бубна (вместо органа!), дальше — мощные шпоры Кэулнюн (отрог Куйвачорр), спускающейся к озеру колоннами и пилястрами, на которых природа тысячелетиями вытачивала рельефы, изображающие сцены из снов Земли. Венчала гигантский барельеф скала Куйвы с танцующей фигурой (то ли нойда, то ли какого-то божества) и пантеоном других мифических созданий, словно бы живьем взятых из саамских сказок и легенд, — иллюстрация к ним.

— Некоторые, правда, утверждают, что рисунок на скале Куйвы — это икона Распятия, я сам читал экзальтированное эссе на эту тему, но мне подобные заявления кажутся свидетельством извращенности человеческого ума. Другим примером такого «извращения» может служить вознесение на берегу Сейдъявръйока — напротив Куйвы — православного креста. По замыслу тех, кто его там установил, крест призван оберегать христиан от нечистой силы языческих духов. Вроде крестов на петроглифах Бесова Носа и Кузовов, которые некогда выбивали миссионеры…

— Интересно, — вступил в разговор Лемминг, — как бы они отреагировали, если бы кто-нибудь положил сейд-камень на алтарь их храма или повесил под распятием рога жертвенного оленя?

— Да черт с ними! Мне достаточно пустого неба над головой и органа ветра. Иных атрибутов я не признаю.[134]

Мы замолчали, любуясь полихромией серых облаков на сводах этого храма. Жаль, нет с нами Янека. Хотя, с другой стороны… Кто знает? А вдруг он более реален, чем мы?

Оленей не видать…

Мы начинаем спуск в долину реки Чивруай. Склон такой крутой, что не видно дна. Лемминг ведет нас, повинуясь

интуиции. Зигзагами, с одной скальной полки на другую, с гряды на гряду (кое-где ветер обнажил лысины ягеля, удерживающие ногу вернее, чем ледяная корка), или по руслу полузамерзшего ручья. Ниже русло переходит в широкую расселину, из-под ног сходят крошечные лавины и можно пару метров проехать на заднице. Наконец пейзаж выравнивается, появляются первые кусты, зато снег снова становится рыхлым и мы снова вязнем. Похоже, у Тадека болит колено. Нам все чаще приходится его поджидать.

Оглядываемся назад. Только теперь можно оценить всю головоломность нашего предприятия. Я восхищаюсь нюхом Лемминга, ведь достаточно было промахнуться на пару шагов, чтобы угодить на ступени ледопадов. Потом костей не соберешь.

Быстро темнеет. Перед нами гигантский бурелом — следы прошлогодней лавины. С трудом продираемся через горы стволов, вывороченные корни и снежные ямы. Где-то недалеко должна быть проходить по дну долины тропа в охотничью избушку. Не проглядеть бы ее под снегом. Год назад мы с Наташей избушку не нашли. Пришлось ночевать в палатке.

Есть! Кто-то тут проходил недавно, вот свежий отпечаток — не то копыта, не то сапога. Теперь надо перебраться через реку Чивруай. Лемминг оставляет нас на тропе, а сам отправляется на поиски. Темнеет. Вокруг лес, словно в саамской сказке, — вековые сосны, поросшие бородами мхов, обомшелые березы облезают клоками лыка. Того и гляди Оадзь из этого лыкового клубка выглянет.

Избушку в долине реки Чивруай поставили несколько лет назад архангельские альпинисты — в память о двух своих товарищах. Их тела нашли у подножья главы Павры, рядом лежал его нос, вместе с которым они, очевидно, сорвались вниз во время восхождения. Очередные жертвы саамского мифа.

В избушке с апреля хозяйничает Дима, паренек из Мурманска с испуганными глазами и лицом аскета поневоле. Судя по путаным Диминым рассказам, что-то у него в жизни не задалось и чем пытаться перехитрить недругов, он предпочитает переждать, отсидеться в горной пустыни. Питается ягодами и лепешками из ржаной муки, которой оделяют его сердобольные егери из Мотки. Еще один «саам по себе», как выражается Лемминг.

Чивруайская избушка не похожа на те, что я видел тут прежде. Тщательно сложена из балок «в лапу» (чувствуется рука поморских плотников). Старательно проконопаченная, просторная, а главное — чистая! В центре — четыре пары нар, стол, две лавки и печь. Натоплено так, что нечем дышать. Полумрак рассеивает единственная свечка. У Димы при виде

наших запасов — особенно чая — заблестели глаза. Уже два месяца он пьет исключительно отвар из листьев черники и чаги. На его койке я замечаю том Догэна.[135] Жадно поедая колбасу из оленины, он рассказывает о сатори,[136] которое пережил при виде луны в капле росы. Мне, правда, показалось, что просветление при виде колбасы было сильнее.

Только после ужина Тадек признался, что с коленом дела плохи. Он повредил его вчера, высаживаясь из лодки. Лемминг осмотрел ногу и чертыхнулся! Похоже, завтра нас ждут проблемы. Расселина Ферсмана, по которой мы собирались возвращаться, отпадает. А жаль, потому что вчера Дима видел там оленей. Но с такой ногой туда соваться нечего. Тем более, что летом расселину завалило каменной лавиной. Придется обходить через Энгпорр — это проще, но дольше.

— Завтра будет видно, — бросил Лемминг. — Утро вечера мудренее.

— Расскажи что-нибудь о Мяндаше — на сон грядущий, — попросил я, когда мы улеглись. Валерий — классный рассказчик.

— Выбежал однако из-за Имандры, из-за горизонта Матери-Земли дикий олень, Мяндаш-пырре. Имя его положило начало миру. Бег его положил начало жизни. Дорога его — солнечная тропа, по которой ходит наше племя. Летит Мяндаш, Золоторогий олень, копытами стучит. Белый, точно снег, быстрый, точно ветер, прямо в Ловозерские тундры мчится. Прибежал на берег Сейдъявра, остановился на Нинчурте, ноги расставил и омочил нашу землю, принимая ее во владение. Тут и ягель сытный, тут и травы ароматные, где ж ему найти место лучше? И снова застучал олень копытами по гладким камням и помчался вприпрыжку. Хрустит под ногами ягель, трава шелестит, Мяндаш-пырре бежит, Мяндаш-пырре летит. Полюбилась ему эта земля, тут он жил и тут кормился, в водах священного озера копыта омывал. От него берет начало наш народ, все мы из его семени и из крови жены его Мяндаш-каб, хоть фамилии носим разные… — Лемминг вдруг прервал рассказ.

Он молчал. В печи потрескивали смолистые щепки. С койки Тадеуша доносилось ритмичное похрапывание. Дима молча дожевывал колбасу.

— Мар, спишь? — спросил Валерий.

— Не совсем.

— Знаешь, мне иногда кажется, что в каждом из нас живет Мяндаш, дух дикого оленя.

Засыпая, я думал о последних валеркиных словах. Может, и правда, мы всю жизнь ищем Мяндаша, дикого оленя собственных мыслей (ведь наши предки — первобытные охотники на оленей),

не подозревая, что это мысли оленя, который живет в нас. И заснул.

Увы, наутро колено Тадеуша распухло еще больше. Лемминг наложил ему эластичную повязку и выстругал посох из осины. Ничего не поделаешь, пора двигаться. До лагеря под Пункаруайвом отсюда двенадцать часов труднейшего пути. К счастью, погода улучшилась, и даже солнце выглянуло, но ветер не стихает, так что всякое может быть.

Выходим на рассвете, чтобы ночь не застала в горах, и движемся медленно, чтобы сразу не утомить Тадека, которому и так предстоит тяжелый день. Направляемся к долине реки Чивруай, на юго-запад, удаляясь от озера Духов. Лес редеет, делается карликовым. Только на берегу Сейдъявра, благодаря особому микроклимату, сохранилась в Луяврурте реликтовая тайбола, повсюду в других местах — тундра.

Солнце тем временем взошло высоко, но мир еще не проснулся. Вокруг все та же неподвижность и мертвенность. Лишь бликуют, словно маня нас, ледопады на выходе из оврага Ферсмана, да падающие с Энгпорра бесчисленные потоки вспыхивают радугой на порогах, чуть оживляя долину. Для Тадека, впрочем, потоки — серьезное препятствие. Балансируя на скалах со своим осиновым посохом, он преодолевал их с величайшим трудом. Страшно подумать, что будет дальше.

— Посмотрите направо! — воскликнул Лемминг. — Вот голова Павры, повара Куйвы. А там, внизу, лежит нос.

Ой! В таком ракурсе я Павру вижу впервые. По спине бегут мурашки. Высоко над нами торчит из гряды скальная башка — мощные челюсти, узкий обезьяний лоб и темная брешь от каменного обломка, валяющегося внизу. Так, должно быть, выглядели преступники с вырванными ноздрями.

— Муха собирается приделать ему нос, — рассмеялся Лемминг. — Надеется, что в благодарность повар сообщит, где спрятаны сокровища саамов.

— Интересно, как он это сделает. Такую махину никаким краном не поднять.

— Не забывай, у каждого нойда свои секреты.

Отсюда скала еще больше походила на голову неандертальца. Быть может, чудский воин попал в саамские сказки не случайно, быть может, это отголосок борьбы homo sapiens с доисторическим человеком? Если считать, что предками саамов были кроманьонцы — почему бы и нет?

Из задумчивости меня вырвали восторженные возгласы на французском языке. Восхищенный Тадек, забыв про больное

колено, прыгал с места на место и азартно щелкал фотоаппаратом. Вид и в самом деле потрясающий. Мы добрались до края долины: перед нами мульда[137] с маленьким горным озером, покрытым тоненьким слоем свежего льда (словно слюдяное окошко), а с трех сторон — колоссальная картинная галерея. Шедевры каллиграфии снега и скал. Перед подъемом Валерий объявил привал.

Обсуждаем дальнейший маршрут. Можно попытаться через перевал Чивруайладе, там придется пробираться через снежные навеси, а дальше — по гряде над котловиной озера Райявр на Энгпорр, спускаемся в долину реки Индичйок, откуда до лагеря уже рукой подать. Или же сократить маршрут — сразу вскарабкаться на гряду котловины по северной стене Энгпорра, тем более, что снега на ней много и проблем с камнепадом быть не должно. Мы выбираем второй вариант — таким образом сэкономим полтора-два часа пути и обойдем лавины, которые, бывает, сходят по расселине Чивруайладе.

Валерий еще раз осматривает в бинокль склоны долины в надежде увидеть оленей, но, увы, — тщетно. Тадек глотает анальгетики… Солнце из золотого делается оранжевым, озаренные заснеженные склоны — мандариновыми.

Представь себе, дорогой читатель, стену снежной пыли, в которой ноге не на что опереться и в которую то и дело проваливаешься по пояс (а порой и глубже). Руки бессильны — брассом ведь наверх не поплывешь, рюкзак тянет вниз, и только быстро перебирая ногами, можно как-то утоптать эту взвесь, чтобы продвинуться на пару метров по вертикали. Затем (с трудом) набираешь в легкие воздуха, вытираешь со лба пот и вновь, словно поросенок из мультика, месишь снежный пудинг — еще пара метров… Так мы поднимались.

Тадек все больше отставал… Валерий подгонял нас, с тревогой поглядывая на солнце, которое из оранжевого делалось лилово-алым, затем ало-ультрамариновым, и наконец стало черным… В жизни не видел ничего подобного. Не солнце, а черная дыра, из которой во все стороны бьют сполохи полярного сияния — пылающий ореол с шипами.

— Это предвестник бурана, — воскликнул Лемминг, перекрикивая ветер. — Вот-вот начнется снежная буря, надо спешить!

Хотя нас разделяло не более двух метров, я едва его слышал. Мы были уже почти на гряде. Вдруг вокруг завыло, и нас поглотила тьма. Ад начался в мгновение ока. Где Тадек? Возвращаемся по своим следам. Через пару десятков метров из тумана появляется Тадеуш. Покачиваясь, идет нам на встречу.

Бледный. Плохо дело!

Быстро совещаемся. Придется менять маршрут. На Энгпорр сейчас соваться нечего — в метель легко сбиться с пути и с высоты нескольких сотен метров рухнуть в котловину Райявра. Так что надо любой ценой спускаться, лучше всего траверсом по восточному склону Страшемпахка. Получится длиннее, зато не будем рисковать с ночлегом в горах. При такой погоде это верная погибель. А внизу всегда можно найти немного хвороста и у костра дождаться рассвета.

— Тадек, не ешь снег! Снег вытягивает из организма соль.

— Далеко еще до лагеря?

— По карте — две стопы, твоих — полторы.

Мы с Леммингом делим между собой содержимое его рюкзака.

— Внимание, идем так, чтобы не терять друг друга из виду, — командует Лемминг и первым устремляется вперед.

Без Валерия мы бы точно не выбрались. Стихии так смешались, что нельзя было понять, где верх, где низ. Где кончается земля, где начинается воздух. Почва уходит из-под ног, небо, кажется, обрушивается на голову, а пространство то засасывает, словно вакуум, то сдавливает, не давая вздохнуть. Все вокруг клубится какой-то шалой стаей (клубок к клубку), пускается в галоп и несется сломя голову, напролом, напрочь лишая человека разума.

Как долго это продолжалось — сказать трудно. Может, час, а может, и все четыре. Категории времени — точно так же, как и пространства, не играли в этом хаосе стихий никакой роли. Так бывает во сне. В какой-то момент мы очнулись по другую сторону Страшемпахка. Только из сна обычно вырывает звук, а здесь, наоборот, — внезапная тишина.

Опустились сумерки. Последний глоток чая отдаем Тадеушу, организм которого обезвожен анальгетиками.

— Валерий, далеко еще?

— Вахтушки, пахтушки и дома.

К счастью, Тадек не разбирается в саамских мерах длины, а то бы окончательно расклеился. «Вахтушка» по саамски — «гора», «пахтушка» — «долина». Путь здесь измеряют не так, как в Европе. Например — «брызгами» оленей. То есть — сколько раз олень по дороге помочится. Уж не говоря о том, что сама тундра постоянно меняется — то болото обнаруживаешь там, где еще вчера была твердая почва, и надо идти в обход, удлиняя путь, или река разливается там, где недавно камни торчали на отмели, и приходится искать новый брод.

Вот как сейчас — подходим к потоку Райок,

перегораживающему нам путь, и ждем, пока Лемминг найдет удобный брод. Слева в полумраке маячат скалы над озером Райявр. Самого его отсюда не видно. Из мрачной котловины тянет холодом и тайной. Неслучайно искатели шаманской силы в последние годы перебрались на берег Райявра, утверждая, что Сейдъявр окончательно затоптан туристами, и мощь его перешла к Пустому озеру (название происходит от саамского слова «райк» — «дыра», «пустота», а также «граница»). А ученые вроде Демина говорят, что скальный цирк Райявра по форме напоминает воронку на ядерном полигоне под Семипалатинском. В любом случае, Пустое озеро — не для слабаков, это уж точно!

Не успели мы форсировать Райок, совсем стемнело. К тому же не было видно звезд, и я не понимал, как Валерию удается ориентироваться в этом мраке. У нас, правда, имелось на троих два налобных фонаря. Один надел Тадек, второй Лемминг отдал мне. Причем просил к нему не приближаться, потому что луч света вырывает из темноты небольшой круг, делая окружающую тьму еще более непроглядной. Пути не было конца. Время от времени мы приостанавливались, но настолько выбились из сил, что даже не снимали рюкзаки. Чем потом снова их надевать, лучше опереться о скалу и передохнуть на полусогнутых. Во время одного из таких перекуров я спросил Лемминга, как он отыскивает дорогу.

— Складки на снегу видишь? Это мои указатели. Ветер уже третий день юго-восточный.

Я много читал о феноменальном чутье северных кочевников, которое помогает им ориентироваться в тундре, но впервые смог увидеть это собственными глазами. Складки на снегу, о которых говорил Валерий, наверное, что-то подсказывали, но не думаю, чтобы этим дело ограничивалось. Подозреваю, что дело здесь в неком шестом чувстве. Быть может, наследственном, а может, выработанном длительным общением с тундрой? Так или иначе, до берега Индичйока мы в конце концов добрели!

А дальше? На сей раз перед нами — не обычный ручей, а широкая бурная река. Посветили налево, направо — никаких признаков брода. Хуже того, прибрежный лед (так называемый припай), нависает над потоком, не касаясь воды, и под нашей тяжестью наверняка провалится. А если и не провалится, так что с того? Все равно останется несколько саженей бурлящей стихии. Лемминг, обутый по-местному до подмышек, еще мог бы попытать счастья, а мы с Тадеушем в свою западную обувку воды наберем стопроцентно. К тому же течение здесь такое сильное, что наверняка свалит с ног. Надо искать брод. Валерий велит нам ждать, а сам берет фонарь и исчезает в темноте.

Я оглядываюсь в поисках хвороста. Эх, чайку бы горячего. Торчащие из-под снега стебли моментально превращаются в пепел — точно солома, — даже руки согреть не успеваешь, о кипятке и мечтать нечего.

— Прелести пастушьей жизни, — бросает Валерий, выныривая из мрака. — Для тебя, Мар, это приключение, а для меня — обычный рабочий день. Я, бывает, неделю так хожу, прежде чем найду оленей, а порой возвращаюсь ни с чем.

— Скажи, Валерий, а олени на самом деле существуют?

— Не меньше, чем твои саамы, мой дорогой. Пошли, брод ниже по течению, полверсты отсюда.

То, что Лемминг назвал бродом, на самом деле оказалось несколькими глыбами, хаотично разбросанными в бурлящем потоке. Валерий переводил нас по очереди — сперва Тадека, потом меня: шаг за шагом, не останавливаясь ни на мгновение, чтобы не потерять равновесия и не потерять из поля зрения (ограниченного светом фонаря) его ноги на соседнем камне. Переправа требовала полной сосредоточенности — шум воды заглушал голос, а царивший вокруг мрак не давал надежды сориентироваться самостоятельно. Просто эквилибристика! К счастью, обошлось без купания.

До лагеря осталось несколько часов относительно простого пути, частично по бывшему тракту геологов, потом — крутой переход к плато между Нинчуртом и Пункаруайвом, а дальше уже только спуск вниз. Останавливаться на ночлег «под кустом» нет смысла, тем более, что кустов никаких не видно. Конец нашего путешествия я помню смутно — как сквозь сон. Хруст ломающегося под сапогами наста и полоса теплого воздуха от Анкисуайя. Запах дыма от несуществующего костра… Порой звезда блеснет из дыры между тучами — где-то внизу, словно мы уже подходим к небесам. А то вдруг склон замаячит во мраке — там, где, судя по карте, должна быть долина. Лемминг все больше напоминал оленя — стриг ушами, принюхивался к дуновениям ветра. Вдруг, ни с того, ни с сего, начал кричать. Я думал, он меня зовет, подошел поближе, слышу — мат. Валерий по-черному проклинал Нинчурт — словно живого человека.

— Что случилось? — спросил я.

— Эта блядь, — сказал Валерий про гору, — вечно меня к Пункаруайву подталкивает. Небось, за то, что я ее Чертовыми Сиськами обзываю. Сегодня специально забрал посильнее влево, так все равно здесь очутились. Слышишь шум Индичйока?

— Нет.

— Вот и я тоже — нет. А должны бы. Значит, он остался далеко слева.

— И что теперь?

— Хорошо, что я вовремя спохватился, а то залезли бы выше, так пришлось бы потом спускаться в лагерь по кручам Пункаруайва. Со мной так было однажды — едва жив остался. Но в темноте, да еще с хромым Тадеком — никаких шансов. Пришлось бы ждать рассвета. Впрочем, он и так уже скоро. Возвращаемся к Индичйоку и идем вниз.

На крутом спуске с плато к лагерю нога Тадека окончательно отказалась повиноваться. Сильно хромая, он перебирался от одного дерева к другому, не попадая в наши следы. До вежи мы добрались на рассвете. Двадцать два часа ходьбы.

Весь следующий день мы валялись на оленьих шкурах, мысленно еще бродя по горам. В полусне всплывали эпизоды экспедиции — то в дымнике метель завоет, то в кастрюле на печи ручей забормочет — да и тело напоминало о себе и трудном пути. Лишь аромат ухи из кумжи вернул нас к реальности. Фирменное блюдо Андрея.

Колено Тадеуша не сулило скорого выздоровления, так что тянуть с отъездом не стоило. Тем более, что Луявр у берегов начал замерзать, и если мы прозеваем момент, вернуться в Ловозеро будет непросто. Валерий тоже торопился — надо успеть завезти из поселка провиант «на замерзание». Прощайте, мои олени! Надеюсь, мы еще встретимся.

— Что значит «на замерзание»? — спрашивает Тадеуш.

— На тот период, когда озеро замерзло настолько, что на лодке по нему уже не пройти, но лед еще недостаточно окреп, чтобы проехать на «Буране». Бывает по-разному — когда неделю, когда две, а когда и дольше. В прошлом году нас тут мариновало с ноября до января. Так же с весенним таянием, когда лед становится таким тонким, что на «Буране» ездить уже страшно, а на лодке плыть еще рано.

— Вы все остаетесь на замерзание?

— А как же, это самое спокойное время. Можно уходить в горы, не опасаясь, что в вежу нагрянут незваные гости.

— Не скучно?

— Ну… бывает, что ум за разум заходит, но, в конце концов, только с идиотами этого не случается, потому как они обделены и тем, и другим.

— Кстати, о разуме… Взгляните, — Тадек разложил на столе спутниковые снимки Луяврурта. — Вам не кажется, что если смотреть из космоса, Ловозерские тундры напоминают человеческий мозг?

— Не ты первый это заметил, — оживился Лемминг. — Год назад приезжали парапсихологи с приборами для исследования

мозговых волн. Представьте себе, они обнаружили, что наши Тундры излучают какую-то мысленную энергию. Потом подвели под это целую теорию — про разум Земли.

— Мужики, у вас самих от этих баек ум за разум скоро зайдет, — вмешался Сергей. — Баня готова.

Вообще-то русскую баню я люблю, но на сей раз отказался. Во-первых, мы с Наташей как-то ее опробовали, и мне, привыкшему к солидному срубу и каменной печи, в пастушьей баньке было как-то не по себе. Обтянутый полиэтиленовой пленкой деревянный каркас на берегу озера больше напоминал теплицу, чем настоящую русскую баню. Внутри тесно, одежду сложить негде, пар оседает на полиэтиленовых стенках, стекает ручейками, и жар не такой, чтобы уши в трубочку заворачивались. Во-вторых, на темном небе как раз начиналось шоу северного сияния.

Сказочная иллюминация! Сперва из-за Луявра выстрелили четыре мощных снопа пурпурного света — словно противоавиационные прожекторы, — и долго, будто прицеливаясь, кружили над Пункаруайвом. Потом начали ломаться, постепенно образовав лилово-малиновую полосу, которая затем опустилась к земле полыхающим занавесом. Вскоре уже весь небосклон над Луявром пульсировал сиянием. Вдруг трепещущую ткань разорвал алый зигзаг. Затем второй, третий. То в одном месте, то в другом вспыхивали кровавые брызги, а отблески их опускались в озеро, угасая на ультрамариновой глади красной зыбью. Словно в древней саамской легенде о Найнасе.

Из бани, пронзительно свистя в два пальца, выскочил голый Лемминг. Тадек помчался в чум за фотоаппаратом — такого представления Париж еще не видывал. Возле вежи свистели Андрей и Сергей. Видимо, саамский обычай свистом отпугивать духов предков, что борются на небе в обличье сполохов северного сияния, вовсе не умер. Более того, он действует! Зигзаги отступили к Нинчурту, простегивая вспышками горную гряду.

Однако стоило мужикам вернуться в баню, небесный театр света возобновился. На этот раз из-за Суолуайва полыхнул клубок желтого дыма и тут же разорвался в клочья, которые, вращаясь вокруг собственной оси, в одном месте вытягивались полосами, в другом — развевались вуалями, где-то горели ярко, где-то едва тлели. Тени, обрисованные цветными лентами (словно крупными мазками), создавали фантастические композиции, в которых батальные сцены разыгрывались на фоне онирических пейзажей: порой какая-то фигура выходила на первый план, чтобы мгновение спустя исчезнуть в сияющей мгле; пейзажи сменялись,

как в калейдоскопе, судорожно переплетаясь, пронизывая друг друга, — а поверх всего этого вздымался пульсирующий огненный плюмаж. Просто космический фейреверк!

В конце концов холод меня доконал. Картина настолько завораживала, что я потерял счет времени — это на морозе-то, в одном свитере… В сенях вежи до меня долетели обрывки разговора. Как всегда, болтали… про йети.

— Йети в этих местах?

— А что ты думаешь!.. В Ловозерских тундрах его многие видели, и многим это стоило жизни. В саамских мифах йети называется Мець-вуйнас («мець» — хозяин) — мохнатое, темное и безвредное для человека существо, если только его не прогневать. Вот если рассердится — конец.

Валерий рассказал о загадочной гибели пяти своих воспитанников-дзюдоистов. Несколько лет назад, после окончания учебного года, они отправились на экскурсию на берег Сейдъявра и не вернулись в оговоренное время. Тела нашли на спуске с перевала Эльмарайок, в нескольких сотнях метров от шахты. Скрюченные, на лицах — гримаса ужаса. Экспертиза показала, что все пятеро умерли от разрыва сердца. А ведь парни были как на подбор — каждый год проходили медкомиссию. Что-то их до смерти напугало.

Слушая Валерия, я вспомнил повесть Чатвина о йети. Брюс не верил в снежного человека, хотя в Гималаях писателю показывали его останки и фотографии его следов. Чатвин считал, что все монстры такого рода — плод коллективного безсознательного. Вопрос только, способны ли чудовища наших снов материализоваться настолько, чтобы убивать?

Ночью я еще несколько раз выходил во двор. Шоу продолжалось. Перед рассветом в районе Нинчурта я увидел тень фигуры — в полнеба, — окаймленную зеленоватым светом. Фигура склонилась ко мне, протягивая руки, словно просила о чем-то.

Назавтра на память о пребывании в «Пирасе» Валерий подарил Тадеушу оленью шкуру, а мне — зачитанного до дыр Моралеса. Мы быстро собрались и около полудня тронулись в Ловозеро. Небо затягивали грязно-бурые тучи, вода в Луявре стыла на глазах, обретая вид и консистенцию не то расплавленного свинца, не то серого оливкового масла. Вскоре появилось сало.[138] Затем льдинки. И наконец началась борьба — кто кого.

Короче говоря — обратный путь занял двое суток вместо полутора часов. Было все: лодка вмерзала в «сало», ломались весла, мы крушили лед винтом, вытаскивали обледеневшую

лодку на Низкий остров, заночевали в вонючей рыбацкой избушке со случайными товарищами по несчастью (угостившими нас копченым налимом), а утром увидели солнце над ледяным полем, образовавшимся на месте вчерашнего бурлящего озера. Остаток пути до Ловозера прошли пешком, по свежему льду. Дрожа от страха.

На мелководье лед был прозрачный, словно на дне лежало зеркало, отражавшее недвижные травы, песок и камни, порой — тень рыбы. А на глубине напоминал черный мрамор гробовой плиты, украшенной орнаментом из белого папоротника. Лед то и дело не выдерживал и проседал под ногами — бежали с пронзительным звуком лопнувшей струны или тетивы длинные трещины. Валерий говорил — лед играет. Музыка эта звучит у меня в ушах до сих пор.

И еще один кадр — словно полотно Вермеера Делфтского. Изба Абрама Васильева. До Ловозера — две версты. На столе — связка сушеной щуки и бражка из голубики. После заплесневелых сухарей и промерзшего картофеля, которыми мы питались последние сутки в попадавшихся по пути рыбацких хатах, — царское пиршество. Абрам то и дело подливал нам бражки. Они с Галиной уже двадцать лет живут в этом одиночестве. Познакомились в Ловозере, Галина — из саамского рода Галкиных, Абрам приехал на Кольский из-под Пскова. Через некоторое время тоже стал жить, как саам. Галина Герасимовна в нашем пиру не участвовала. Вышивала в соседней комнате у окна. Тадеуш сфотографировал ее. Молчаливая саамская кружевница в полоске золотого света.

СКАЗКА ОБ АЛОЙ ТРОПЕ

(по мотивам саамских легенд)[139]

Родилась наша сказка в далекие времена и мерцает в памяти, словно сон наяву. Точно придорожный камень в дымке долгого пути.

Я расскажу ее по-своему, хоть и не найти лучше слов, чем те, которыми ее предки наши пели. Тогда каждое слово было музыкой. А мои слова рождаются прозой. Ибо сегодня, увы, слова сказывают — не поют.

Так послушайте же нашу сказку.

Довелось ли вам когда-нибудь слышать музыку моря? Слышать, как лед поет? Не довелось, говорите… А лед поет, правда, поет. Поет зимней ночью, когда море замерзает, и весной, когда тает. Не каждому дано услышать мелодию льда.

Далеко-далеко, за северным морем, спит наш Хозяин. Великий Старик в обличьи Моржа. Когда он в своей постели с боку на бок ворочается, тогда лед и поет. Чтоб знали люди — жив еще Старик.

Он посылает к нашим берегам косяки сельди и трески, палтуса и камбалы. Загоняет в наши реки лосося, запускает сига. Это он, наш кормилец, подманивает к нам тюленей и других морских животных. Выбрасывает на берег жирных китов. Это он подарил нам долгую полярную ночь. Чтобы и человек отдохнул, и олень, и рыба подо льдом. Еще он раскидывает по небу сполохи северного сияния, чтобы вели во тьме страшный бой. Так, оставляя на небесах алые тропы, духи предков играют судьбами живущих. А главный из них — Найнас.

Вот о нем-то, о великом вожде Найнасе и жене его Никии и будет наша сказка.

Однако начать ее надобно с другого конца. С Солнца надо начать.

Утром Солнце на медведе едет, в полдень — на олене-быке, а к вечеру на важенку пересаживается. Вот однажды приехало Солнце из-за моря, отослало важенку, вошло в дом, человеком обернулось. Только хотело отдохнуть, вздремнуть немного, как сын, Пейвалке, к отцу пристал:

— Жениться хочу!

— Не стану перечить, — отвечало Солнце. — Женись, сын, раз охота есть.

— Да как же мне жениться, отец, коли я на земле невесты

сыскать не могу. Нет такой девушки, чтоб ей мои туфли были в пору. Нога у них слишком тяжела. С такой на небе не проживешь. С такой скорее в землю врастешь.

— Что правда, то правда, — закручинилось Солнце.

Поклонился Пейвалке отцу своему, Солнцу, и просит:

— Ты сыщи мне жену, чтоб ножкам ее удобно было в золотых туфельках, чтобы лицо было человеческим, а тело — бледным, точно лунный луч, и чтобы никто не знал, существует она на самом деле или нет — так мне спокойнее.

— Трудную задачу ты мне задал, сынок. Возьмешь в жены девушку из чужого рода — сгорит она, несчастная. Хотя… погоди… Вспомнил я — есть, пожалуй, одна. Вот только пора ли ее замуж выдавать? Ладно, постараюсь сыскать тебе невесту, наберись терпения. Ложись поспи, я тебя сам разбужу.

Пейвалке лег и крепко заснул, чтобы сбылось все, чего он наяву пожелал.

Дождалось Солнце того дня, когда Луна выйдет на голубое небо. Смотрит издали — вроде бы все в порядке. В лунном сиянии маячит будто бы девичья тень — то ли есть она, то ли нет… Солнце подъехало поближе и говорит:

— Слыхал я, соседушка, что есть у тебя дочка прелестная. А у меня — сынок, в самый раз для нее. Надо бы нам детей наших поженить.

— Откуда ж тебе, кум, знать про мою дочь, — удивилась Луна, — если я сама не уверена, есть она или нет? Вроде бы вот она, на руках у меня… кровиночка моя. Дыхание ее чувствую. Сердце у меня трепещет. А все одно — не знаю точно.

И Луна прижала свое дитя к груди. Солнце протянуло палец, раздался плач.

— Это ничего, что маленькая, у нас подрастет. У нас все в рост идет. Даже то, чего нет, родится.

Луна улыбнулась:

— Хитришь ты, кум — сгорит она у вас.

— Это ты хитришь — говоришь, на руках ее держишь, а не знаешь, есть она или нет. — Солнце нагнулось. — Где же она?

— Перестань! — крикнула Луна. — Ей больно. Не про вас моя дочь! Другому сужена. Тому, что на краю неба тлеет, у самого горизонта стелется.

Рассердилось Солнце:

— Да как ты смеешь равнять моего сына с какими-то тусклыми огоньками! Наш свет — сама жизнь, а не бледное тление.

— Не серчай, соседушка, твоя сила только вполовину сильна, твоя мощь — только полмощи. А в сумерках? А ночью? А зимой

куда она девается? А он силен и в сумерках, и ночью, и зимой, и летом. Мы с ним общим светом живем. Так что не хвастай, старик, своей силой.

Этого уж Солнце стерпеть не могло. Полыхнуло жаром так, что аж море из берегов выступило, земля задрожала и горами вздыбилась.

Луне на помощь двинулись воды стоячие, сумраки лесные и целая армия теней под предводительством сполохов северного сияния.

Живые существа разделились: птицы, олени и козы потянулись к Солнцу, дикие животные сторону Луны приняли.

А над головами у них гром по небу перекатывается.

Страшно стало людям.

Пробудился Старик в обличьи Моржа (об имени не спрашивай, его вслух произносить не положено), увидал весь этот хаос, зевнул и накрыл землю ночью.

Все потихоньку стало оседать, хоть и не на свое место опустилось, но все же успокоилось.

Лишь медведь о своем думал — ни Солнце, ни Луну не поддерживал. Притаился в тени, схватил гром за бороду, посадил в сумку и поволок домой, в сарае запер, на дверь цепь повесил, а сам сел и сидит. Смотрит, что дальше будет.

Наступила ночная тишина. Все наконец опомнились и разошлись по домам. К своим делам вернулись.

Солнце опомнилось.

И Луна опомнилась.

— Нечего спорить, кума, лучше миром договориться. Ты ведь сама говорила, что не знаешь, есть девушка или нет. Как же может быть кому-то сужен тот, кого нет? Без меня ничего не выйдет.

Луна погрустнела.

— Такая, видимо, наша судьба. Опасно кружить вокруг тебя.

— Отдай мне свою девушку-небылушку, — рассмеялось Солце, — клянусь: вырастет из нее красавица прекраснее ягоды морошки.

— Хорошо, только обещай, что позволишь ей наше сияние сохранить.

— Пускай остается, кума, ваше сияние, только будет нашему слову послушно.

Еще минуту они пошептались, кое-что обсудили. Попрощались, и поспешило Солнце день догонять.

Давным-давно жил себе старик, поживал. Ни жены, ни детей у него не было. Не знал он ни любви, ни греха, всего себя труду

отдавал.

Однажды приснилось ему священное озеро Сейдъявр, а на нем остров, которого старик никогда там не видел. Отыскать бы этот остров, — подумал он, проснувшись, — да и поселиться там.

Но старик сомневался, можно ли самовольно селиться на Священном озере? Поэтому пошел он к людям, рассказал свой сон, спросил совета. Как соседи посоветуют, так, мол, и сделает. Думали люди, гадали и наконец всей общиной порешили: надо старику идти к Священному озеру и поселиться на острове, а коли острова нет, то ждать, пока он не появится.

Собрал старик весь свой скарб да и отправился в путь. Пришел на берег Сейдъявра, смотрит. По озеру остров плывет. Все ближе он к берегу. На острове сосна стоит, сосна кудрявая. Старик за этой сосной поспешил и догнал остров — тот остановился в тихой заводи между отмелью и берегом, поросшим травой да мхом.

О, священное озеро Сейдъявр! С севера закрывают его горы, среди которых царит Карнасурт, гора предков племени, что живет у подножья. Это соседи и родственники старика. На юге Нинчурт два своих хребта выставил — гора, покрытая ягелем, животворным оленьим мхом. На ней Солнце своего оленя пасет. На западе Черная Варака тянется. Карликовой березой поросла. Нехорошее это место, не для людей оно. Но человек туда наведывается — лыко березовое там дерет.

Остров остановился вдали от Черной Вараки. Ступил старик на остров, ногой притопнул и молвил:

— Земля твердая, можно здесь жить.

Обошел остров. На камне у источника, что бил из-под тундры — из-под скал, торфа и мха, — сидела Девушка. Слева посмотришь — солнечным светом сияет, справа взглянешь — голая она.

— Наконец-то ты меня нашел. Я замерзла и есть хочу.

Старик поклонился:

— Я увидел этот остров во сне и как только проснулся, принялся его искать. Но он убегал от меня. Долго я за ним шел. Устал маленько.

— Садись сюда, — Девушка указала на камень.

Старик вынул из сумки сушеную щуку и дал Девушке. Другую сам пожевал. Девушка к рыбе не притронулась. Может, есть не умела? Может, она из другого мира явилась? А может, это Солнца дочь? Или сестра его?

Подал старик Девушке шкуру оленью, наготу прикрыть, и не успел оглянуться, как перед ним предстала обычная саамская женщина. Как ни в чем ни бывало, съела она сушеную щуку и еще

попросила. А когда они наконец утолили голод, старик сделал для Девушки ложе из березовых веток и подушку из мха. Сам сел у огня, ее сон оберегать.

Назавтра Девушка научила старика, как построить дом-вежу. Сели они друг против друга, ступня к ступне, затем откинулись назад и вытянули руки. Отметили на земле точку, до которой достали пальцами, и повторили все снова, наискосок. Так они наметили контуры своего будущего жилища.

Потом старик сделал лодку и стал ловить рыбу. Еще он охотился и собирал березовое лыко (ой и много же лыка в хозяйстве требуется), а женщина занималась домом.

Хорошо и легко им жилось.

Однажды женщина сказала:

— Обойдем вместе вокруг озера. Я хочу наложить заклятие. Чары от дурного глаза и враждебной силы.

Они двинулись вокруг озера, по горам и по лесам, и Девушка все зачаровала — чтобы зло обходило остров стороной, чтобы не причинило вреда ни ей, ни ее старику. Наконец наложила она заклятие:

— Пусть ни человек, ни зверь не отважится прийти на этот остров. Ни волк, ни росомаха, ни лиса, ни заяц, ни жаба, ни червь, ни паук.

Больше всего Девушка боялась жаб.

Только мышке-чистюле и медведю разрешила приходить. Медведь — наш свояк, солнце по небу возит попеременно с оленем, как же ему запретишь? Захочет переправиться через озеро и отдохнуть на острове — пускай себе.

Так они шли по берегу, повсюду бросая заклятие. Лишь Черную Вараку обошли стороной.

— Остерегайся Черной Вараки, старик, там моя сила не действует.

Вернувшись домой, поели старик с Девушкой и легли спать. Прошло три дня. Говорит Девушка своему старику:

— Сделай колыбельку.

Старик выдолбил корыто из душистой сосны, обтянул его красной замшей, сверху приспособил ручку дугой. Внутри вымостил колыбельку сухим болотным мхом, по бокам выстелил ягелем, а в изголовье положил клок шерсти да бороду белого оленя. Сверху набросил бобровую шкурку. Девушка украсила колыбельку ракушками, сухими ягодами черники и речным жемчугом — розовым, голубым, желтым и красным.

Затем велела старику снять старую одежду и умыться, дала ему новую одежду из белой замши. Сама тоже умылась у огня и надела свежую рубашку. Чистые, сели они у вежи и ждали.

Наконец родилась новая луна и взошла на небо. Старик очень удивился. Но ничего не сказал. Видимо, так полагалось на этом острове.

— Идем, — сказала Девушка и отправилась в лес. Она шла первой, старик следом поспешал. Дошли они до ольшаника. Остановились. Долго молчали. Наконец Девушка говорит:

— Видишь?

Старик говорит — да. Но что видит, и сам не знает. Вернее, не знает, существует ли на самом деле то, что он видит — может, нет?

— А тень видишь? Тень на ольхе?

— Вижу, но что отбрасывает тень?

— А ничего кроме тени и нет.

И правда, засияли новая луна и старая, все вокруг осветилось, на стволе ольхи появилось пятно света, а в нем — тень детской головки. Глазки на старика смотрят. Ручки, ножки. Ручки потянулись к старику и Девушке — возьмите, мол.

Девушка прижала живой комочек к груди. Это оказалась маленькая светлоглазая девочка. Она вся светилась лунным светом. И вдруг заплакала, точно человеческий ребенок. Девушка покачала ее и закутала в теплую бобровую шкурку.

Новая луна и старая скрылись за краем земли.

Вернувшись домой, уложили старик с Девушкой дитя в колыбельку. Развели огонь и стали любоваться: лежит крошка — настоящая ягодка морошка, ручками, ножками шевелит, глазками сияет и на ручки просится. Старик обмыл младенца водой из источника на пороге вежи. Девочка не заплакала — наоборот, радостно засмеялась. Старик сел с ней голенькой у огня и, строя потешные мины, сушил — то спинкой, то животиком к очагу повернет, ручки и ножки в ладонях согреет. А потом положил девочку обратно в колыбельку и завернул в бобровую шкурку. Девушка достала откуда-то золотую туфельку, поставила у изголовья и дала ребенку грудь.

После ужина старик с Девушкой легли спать. Так наконец старик познал Девушку… С тех пор они были как муж и жена, отец и мать, старик и старуха. Так, словно испокон века жили вдвоем на этом острове и в этой веже.

Старик называл ее Акка, а она его — Кайлес. Девочку нарекли Никией, а дома звали Акканийдой, что значит «бабушкина дочка». На вторую ночь в то самое время, когда они нашли девочку, старуха положила в дымник костяной венок — Акканийде на счастье.

С той поры на острове их всегда было светло. В любое время

года, вне зависимости от погоды — даже если повсюду тучи укутывали небо тяжелой периной, или зима заносила весь мир снегом, а лес сковывала морозом, или осень дождями плакала — остров старика и старухи освещали лившиеся с безоблачного неба лучи. Днем Солнце светило, ночью луна его сменяла, а если и Солнцу, и Луне недосуг, просили Великого Старика в обличьи Моржа прислать им верного Найнаса с отрядом сполохов северного сияния. Сполохи устраивали битву, и небо над островом озарялось всеми цветами радуги. Словно в зеленом окошке посреди темной ледяной пустыни (благодаря горячим источникам земля там была теплой и все цвело, словно стояла вечная весна), на разноцветном ковре мхов и ягодников кувыркалась маленькая Акканийда. Дочь серебристой луны, Никия, что означает «Тень той, которой нет».

Старик трудился целыми днями, чтобы накормить свою старуху и дар Солнца — Акканийду.

В те времена люди питались только рыбой. Дикую птицу ловили рыбацкими сетями и тоже называли рыбой, только воздушной. На оленей не охотились, олень — это, так сказать, родственник. Лишь раз в год племя позволяло на себя охотиться, и не абы как: оленей загоняли и набрасывали на них вангас.[140] В другие дни охотиться грех. Лодки делали из березового лыка, на них плавали и с них рыбачили. Скарб свой перетаскивали на кережах.[141] Нелегкое это дело — волочить тяжелую кережу по мхам да камням, по горам да болотам. Целый дом так можно было перевезти. Зимнее жилище делалось из оленьих шкур. Это у кого шкур было достаточно, а если нет, тогда сооружали шалаш из пластов березового лыка и сшивали сосновыми корнями. Все из лыка делали. Даже котлы для приготовления пищи. Обмажут его глиной, в огне обожгут, воду нальют и бросают туда раскаленные камни — так еду и варят. Из лыка и сосуды для питья делали, и корзинки плели, и лукошки, и поплавки для сети.

Часто приходилось старику ходить за лыком.

Однажды вечером задумал он пойти за лыком на Черную Вараку. Старуха ему говорит:

— Не ходи туда, старик — Луна взойдет и увидит твои руки за работой. При Луне лыко драть нельзя. Лучше завтра с утра ступай в другой лес. А сегодня на Черную Вараку не ходи.

Старик навострил нож, собрался и пошел. Идет и думает: почему это нельзя на Вараку ходить? Столько раз там бывал и ничего. Забыл он о предостережении старухи, а может просто не поверил. Как бы там ни было, свернул старик к Черной Вараке. Вот уже и лес заповедный перед ним. Взошла Луна.

Ох, и проклятое место эта Черная Варака! Скалы громоздятся среди скал, словно нечистой силой раскиданные. Выкрученные какой-то дьявольской рукой березовые стволы пластаются по земле, словно заколдованные гады. Старик испугался, в чащу не суется, по опушке Вараки крадется. Вот старые березы. На стволах — чалмушки (по-нашему «березовые глазищи»), лыко само отходит. Легче всего драть лыко как раз с такого глаза — левой рукой хватаешь за отстающий кусок, ножом надрезаешь — и сразу целый клубок получается. Бродит старик по березняку, под нос себе бормочет, старухины предостережения вспоминает. А Луна играет на белоснежных стволах, листья серебрит, сиянием глаза туманит.

Наконец выбрал старик березу с красивым и гладким стволом, почти без глазков. Один только глаз на ней и был, зато огромный, словно живой — казалось, так и смотрит на старика. Он заглянул внутрь и снова испугался — гнездилась там всякая нечисть: пауки, жуки и жирные черви. Но старик все же достал нож и принялся резать кору. Тогда из березового глаза Оадзь показалась, поморгала и говорит:

— Эй, старик, возьми-ка меня в жены.

А из-за спины Оадзи дочка ее выглядывает и смотрит на него, точно на батюшку родного.

— А вот и я, — говорит и похотливо язычком играет, — звать меня Востроглазка.

— Ну как — хочешь меня аль нет? — спросила Оадзь, широко зевая. — Впрочем, даже если не хочешь, все равно возьмешь.

— У-у, — старик громко сглотнул, — как же я тебя в жены возьму? Есть у меня уже старуха.

Сказал так и пошел дальше — другую березу искать. Нашел хорошее дерево, но не успел достать нож, как из-под лыка снова Оадзь выглянула, за ней дочка Востроглазка, а следом сынок Оадзи — Горелый Пенек. Старик задрожал от отвращения и пошел дальше, третью березу искать. Ходил-ходил, наконец нашел.

— На этой и лыко лучше, чем на тех, — сказал он себе, сунул рукавицы за пазуху и потянул лыко. Из чалмушки Оадзь показалась и — хоп! — старику на шею. Лапками его обняла, прижалась и шепчет:

— Вот видишь? Ты меня уже взял. Боишься? Со мной хорошо, я тебе пятки стану вылизывать. А не захочешь меня — через пятку жизнь из тебя высосу.

Не успел старик Оадзь с себя стряхнуть, из березового глаза Востроглазка выглянула, за ней Пенек, а следом еще один сынок Оадзи.

— А вот и я, Мохнатый Мышонок, — говорит. — Я тоже Оадзин и тоже к тебе хочу.

— Пошли прочь! — заорал старик. — Не возьму я тебя, Оадзь, в жены. И твоих детей мне не надо! Есть у меня своя старуха и своя девочка! Вы в моей веже и не поместитесь.

Не успел он эти слова молвить, а Востроглазка уже прыгнула ему на грудь и улыбается, точно батюшке родному.

Старик замер и пытается объяснить спокойно.

— Послушай, Оадзь, есть уже у меня и жена, и дочка Акканийда, я и двоих-то их едва кормлю-пою. А тут еще вас четверо. Где ж мне такую ораву выкормить? Дурацкая это затея, Оадзь!

— Да ты не бойся, старик, не бойся. Мы вчетвером будем тебе помогать. Вот, хоть Пенек — силы ему не занимать, на троих хватит.

Услыхал это Пенек и — прыг на правую ногу старика, одной лапкой — цап за колено, а другой неприличный жест сделал.

— Мохнатый Мышонок — тоже ничего себе.

Тут Мышонок — шасть на левую ногу старика, глазами сверкнул, зубы ощерил. Старик аж застонал, а Оадзь опять ему на ухо шепчет:

— Я твоей новой женушкой стану, старик, а старую вон прогоним, — а сама слюной брызгает, буль-буль, — тебе со мной хорошо будет.

Старик бросился наутек, бежит что есть мочи, но Оадзь крепко держится. Еще крепче в шею вцепилась и твердит как заведенная:

— Не захочешь меня — заколю… Вот смотри, у меня ножницы есть — раз уколю, две раны получится, два раза — четыре, три раза — уже шесть. Истечешь кровью, дурак, вот и все! — и ножницами щелкает.

— Черт бы тебя побрал! — сдался старик и со всей этой теплой компанией медленно побрел домой. Оадзь его погоняет, ножницами колет, Востроглазка от счастья слюни пускает, а Горелый Пенек и Мохнатый Мышонок, громко пукая, под ногами вертятся.

Увидала старуха старика с оравой Оадзи и вскричала в ужасе:

— Разве не говорила я тебе — не ходи на Черную Вараку, беду накличешь? Разве не просила — не дери там лыко при Луне, мало тебе другого леса? А ты меня не послушал, теперь вот Оадзь к нам домой притащил!

На следующий день старик внимательно рассмотрел, кого же он приволок. Особенно внимательно разглядывал свою новую

женушку. То ли паук, то ли крыса — и не жаба, вроде, а мокрая и скользкая, полулягушка-полуженщина. Да что поделаешь? Придется жить с этим чудовищем.

Оадзь боялась света. Утром, едва всходило солнце, приникала к земле, съеживалась и забивалась в угол — где потемнее. В щель заползет, под мох и камни, и оттуда жадно на старика, старуху и Акканийду поглядывает, словно съесть хочет.

Старик построил им отдельную вежу. Оадзь велела тщательно законопатить все щелочки, все отверстия, даже дымник заткнуть. Чтобы даже самый крохотный лучик Солнца не смог заглянуть внутрь. Очага там не было. Огонь Оадзь не разжигала. Жила во влаге, духоте и мраке.

Едва старик поставил вежу, Оадзь в нее заползла, мокрыми сетями накрылась и вместе со всем семейством спать улеглась. Храпели они так, что остров дрожал-дрожал, да и сдвинулся с места и поплыл по озеру к Черной Вараке. Там остановился — вдали от людей.

С тех пор Оадзь запретила старику сети сушить, велела мокрыми приносить к ней в вежу. Чтобы она могла в них валяться весь день напролет. Ох и любила же Оадзь днем в мокрых сетях полежать да ночью в них хорошенько выспаться. Еще она без конца рассматривала — старика, старуху, Акканийду — словно глазами их ела.

Каждый день она зазывала старика в свою вежу и усаживала рядом с собой на сети. Прижмется, язык длинный высунет — белый и липкий — и принимается старика облизывать да на ухо всякие гадости нашептывать. От этих нежностей бедный старик покрывался мурашками и волосы у него выпадать стали — один за другим. В конце концов совсем лысый сделался! А Оадзь продолжала его лизать — лизала и от наслаждения слюни пускала: буль… буль… буль…

По всему озеру разносилось это бульканье.

Каждый раз после этого старик возвращался к старухе едва живой. Старуха с Акканийда отмывали его от слюны Оадзи, вытирали и отогревали у огня, пока он не засыпал как младенец. Вот что бывает, когда муж умную жену не слушает.

Тяжелые дни наступили для Акканийды. Старик из кожи вон лезет, чтобы всех прокормить. И на озере каждый день сети ставит, и на охоту в лес ходит, и дома крутится. Щепок нарубит, лодку залатает, вежу подремонтирует… Но с каждым днем он от нежностей Оадзи слабеет.

А Оадзь все еды требует! Запретила старой жене с мужем на рыбалку ездить, сама в лодку лезет, чтобы проверять улов, рыбку

пожирней велит себе варить. Наварят старуха с Акканийдой целый котел ухи, отнесут в вежу Оадзи, а сами рыбьи кости глодают.

А тут новая беда — в веже Оадзи все сети сгнили. Влага их там съела. Только одна последняя осталась. Та, что старик сам на солнце сушил, а старуха своими руками чинила. Так ведь одной сетью рыбы на столько ртов не наловишь. Начали они голодать. Не вытерпела Оадзь и кричит старику:

— Эй, старик! Не будешь нас кормить — сначала тебя сожрем, потом твою старуху, а Акканийду на закуску оставим.

Акканийда со старухой уже и есть перестали, чтобы старика спасти. Весь улов шел на уху для Оадзи.

Оадзь сыта, Акканийда — голодна.

День, другой и третий это продолжалось, наконец Акканийда от голода так ослабела, что ходить не могла. Голодный человек долго не протянет… Увидев это, старик, потихоньку наварил рыбы и накормил свою семью досыта.

Теперь Акканийда сыта, Оадзь — голодна.

Позвала Оадзь старика в свою вежу. Войти внутрь — он вошел, а выйти — не вышел.

Пришлось Оадзи самой за рыбой ездить. Она брала в помощь двоих детей, а одного оставляла — приглядывать за старухой и Акканийдой. Раз поехали, другой и третий, а поскольку сетей они не сушили, то и эта последняя сеть в конце концов тоже порвалась. Вернулось семейство без рыбы, молча в вежу заползло — под старые сгнившие сети. Только морды торчат да голодные глаза сверкают.

Старуха почуяла, что конец ее близок. Отвела Акканийду в сторону, дала ей сонные палочки и научила, как свою жизнь сберечь. В заключение еще раз повторила:

— Не забывай о сотой косточке!

А потом легла и больше не вставала. Ночью к старухе Оадзь подкралась. Смотрит, нет старухи. Только мясо и кости остались… Велела она Акканийде обед готовить. Утром сиротка взяла коромысло с ведрами, побежала за водой к горячему источнику и поставила бабкины кости в котле на огонь. А поскольку день был солнечный, на дворе стояла жара, орава Оадзи не могла выйти из вежи — сидела во влажном мраке и, следя голодными глазами за каждым движением девочки, громко сглатывала слюну. Бульон сверху Акканийда собрала в отдельную миску и поставила в сторонку, а мясо приправила морошкой и диким луком да отнесла Оадзи.

Оадзь с детьми накинулись на еду. Ели, чавкали, кости выплевывали, из каждой косточки мозг тщательно высасывали и

за плечо бросали. Акканийда все кости собрала, посчитала — девяносто девять их было. Куда же сотая косточка подевалась? Тут Востроглазка икнула, Акканийда ее по спине стукнула — сотая косточка и выскочила.

Схватила Акканийда сотую косточку и побежала в свою вежу. А сытая Оадзь спать легла.

Началась жизнь без старика и старухи. Акканийда кое-как сети подлатала, и Оадзь поехала на озеро рыбачить. Взяла с собой Востроглазку и Горелого Пенька, а Мохнатого Мышонка оставила дома — за сироткой Акканийдой следить, глаз с нее не спускать.

Акканийда вежу подмела, посуду помыла и к Мышонку ласково так обращается:

— Эй, Мышонок, Мышонок, мохнатый поросенок, иди ко мне, я у тебя блох поищу.

Мышонок бегом прибежал, аж слюной поперхнулся. Положил голову девочке на колени и так разомлел, что и не заметил, когда ему Акканийда сонные палочки в глаза воткнула. Сразу заснул.

Акканийда побежала на гору неподалеку от вежи, которую старуха ей перед смертью показала, там косточки в землю закопала, бульоном полила и три раза топнула.

Внезапно на пустом месте дом вырос. Красивый дом из белоснежных костей огромного кита. Открыла Акканийда дверь, внутрь луч Солнца проник, и сам Пейвалке в дом вошел. На столе засияла золотая пряжа, полилась струйка меда. Акканийда попила меда и стала играть с сыном Солнца. Переплетая золотую пряжу серебряными нитками, начала ткать пояс ему в подарок. Не успела оглянуться — возвращаться пора.

Она снова ножкой трижды топнула, и дом исчез, словно его и не было никогда. Акканийда подбежала к веже, вытащила сонные палочки из глаз Мышонка, тут Оадзь с рыбалки вернулась и с порога спрашивает: что происходило, пока ее не было? Мышонок смутился — он ведь все проспал — и буркнул: ничего, мол, особенного. Оадзь поела и спать легла.

Назавтра она поехала на рыбалку с Востроглазкой и Мохнатым Мышонком, оставив Акканийду сторожить Горелый Пенек.

— Эй, Пенек, Пенечек, горелый лежебочек, иди ко мне, я у тебя блох поищу.

Пенек мигом прискакал, аж вспотел весь. Положил голову девочке на колени и так разомлел, что и не заметил, когда Акканийда ему сонные палочки в глаза воткнула. Сразу заснул.

Дальше все повторилось: дом из китовых костей, Пейвалке с золотой пряжей, игры и мед… Вернувшись в вежу, Акканийда

палочки вынула, Пенек проснулся, а Оадзь с порога спрашивает, что происходило, пока ее не было? Пеньку сказать нечего — заспанный, слова не может вымолвить.

— Не пенек ты, а гнилушка, — разозлилась Оадзь. Поела и спать легла.

На третий день Оадзь взяла на рыбалку Мышонка и Пенька, а Акканийду сторожить Востроглазку оставила:

— Ложись, милая Востроглазка, — молвит Акканийда, — я сама уберу, подмету, по воду схожу и посуду вымою, потом блох у тебя поищу, коли захочешь.

Неохочая до работы Востроглазка растянулась в углу и внимательно следит за Акканийдой. Девочка в два счета со всеми делами управилась и стала искать блох у своей стражницы. Искала, искала и доискалась. Потому что хитрая Востроглазка дала воткнуть палочки себе в глаза и притворилась, будто заснула. А третьим глазом-то глядит! Акканийда про третий глаз ничего не знала. Побежала она на гору, трижды притопнула, и снова дом появился, Пейвалке и мед.

— Сегодня я тебя так легко не отпущу, — рассмеялся сын Солнца, наливая Акканийде меду.

И так они заигрались, золотую пряжу серебряной ниткой переплетая, столько хмельного меда выпили, что уходя, Акканийда забыла трижды притопнуть. Дом на виду и остался, а в нем Пейвалке, сын Солнца… Востроглазка все третьим глазом увидела и Оадзи нажаловалась.

— Чтоб ее приподняло да об землю стукнуло! — вскричала Оадзь. — Сына Солнца поганке захотелось!

В эту пору сумерки расстелили по земле лиловые тени, и Солнце, уходя за горы, унесло с собой и дом, и Пейвалке. Акканийда осталась одна.

Оадзь со своим семейством кинулась к ней — сожрать хочет. А косточки, которые должны были сиротку от беды уберечь, вместе с домом на горе прочь улетели… Акканийда едва успела прошептать:

— Я Никия, — и исчезла. Только тень от нее осталась.

А тень разве съешь? Оадзь зашила Тень-той-которой-нет в тюленью шкуру и в озеро бросила.

Долго плыла тюленья шкура — из озера в озеро, из реки в реку, а уж по реке до моря добралась. Долго носили ее морские волны, наконец на берег выбросили. Почувствовала Никия песок, ножом разрезала шкуру и вышла на золотистую отмель.

Походила она немного туда-сюда, чтобы размять одеревеневшие ноги, и увидала дорогу. Дорога бежала среди дюн и привела ее к дому. Заглянула Никия внутрь. Никого там нет,

только кровь повсюду. Очень много крови, пол по щиколотки залит. Дважды Никия кровь ведрами досуха вычерпывала, и дважды та снова по стенам текла, дом заливала. Лишь на третий раз перестала сочиться. Потом Никия вымыла пол и стены дочиста и присела, усталая, повторяя себе:

— Я — Никия, меня нет.

После обыскала тщательно весь дом, в каждый угол заглянула — понять хотела, кто тут живет. За печью Никия нашла несколько круглых буханок хлеба, от одной кусочек отломила и съела, остальное обратно за печь положила. На сытый желудок сон ее сморил. Засыпая, Никия укрылась в тени, тень обернулась веретеном, веретено в стену вонзилось.

Вдруг чья-то рука резко отворила дверь, и в избу, звеня оружием, вошли воины. Юноши как на подбор, настоящие богатыри. Впереди шагал и вовсе писаный красавец! Никия со стены глядит потихоньку и не знает — явь ли это, сон ли… вроде бы и есть мужчины, и нет их, только тени видны. Услыхала она голоса:

— Здесь была женщина.

— Но ее нет.

— Я чувствую запах, она за нами наблюдает.

— Нигде ее не видать.

Заглянули за печь, каждый взял свой хлеб, а одному досталась надломленная буханка. Это был Найнас, их вождь. Тот, что первым вошел.

Подкрепившись, юноши начали сражаться. Вроде, играючи — словно бы для забавы, — потом мечи достали. Полилась кровь. Бой был серьезный. Воины так разгорячились, что стали появляться из тени, и Никия разглядела черты их лиц, латы и раны на теле, из которых сочилась алая кровь… Кровь брызжет, струями льется, вот она уже алыми пятнами по всему небу разлилась. Тогда юноши прервали бой и перевели дух.

Запели они песнь небесных воинов. Песнь о крови. Потом — с песней на устах — чередой покинули избу и растаяли в воздухе. Кабы не лужи крови на полу, можно было подумать, что все это Никии приснилось.

Один Найнас остался. Встал посреди избы тенью и сказал тайным языком сполохов северного сияния:

— Отзовись, та, что хлеб мой ела. Покажись! Коли ты старуха, будешь мне бабкой, зрелую — матерью назову, ровесницу — сестрой приму, а Девушку — в жены возьму.

— Нет меня, — засмеялась Никия со стены.

Найнас рванулся к ней, а смех уже из другого угла доносится. Пытается Найнас смех поймать, а тот убегает, веретеном по полу

перекатывается.

— Ку-ку, нет меня, — слышится то с одной стороны, то с другой.

— Покажись, милая, — прошептал, чуть дыша и бледнея, воин — слишком много он крови потерял.

Увидав это, явилась Никия из утренней зари, за шею Найнаса обхватила, и юноша почувствовал, что это девушка. Так они стали мужем и женой. Устав от боя, он спал целый день, а Никия до самого вечера смывала кровь со стен и пола.

К вечеру воины вернулись и снова принялись сражаться, не обращая внимания на веретено в уголке. Найнас мужественно боролся в первых рядах. И вновь полилась кровь… Кровавый пот тек по лицам, выхватывая их из тени. Наконец сукровица залила избу, и кровавые сполохи засияли на небе.

— Меня нет! — отчаянно крикнула Никия.

В избу влетела утренняя заря и небесные воины очнулись от боевого пыла, успокоились. И исчезли. Один Найнас остался да веретено.

— Долго я так не выдержу, — сказала Никия, — не по мне такая жизнь. Твои раны во мне болью отзываются, твоя кровь моими слезами изливается. Кто вы такие, страшные воины?

Найнас поцелуем вернул жене человеческое обличье.

— Мы не люди, хоть и течет из нас человеческая кровь, и тебе среди нас не место. Иди к моей матери, я скоро туда приду. У нее мы заживем по-человечески.

Найнас взял Никию за руку, вывел на дорогу, дал ей моток алых лучей и сказал:

— Возьми этот моток, брось перед собой, пускай он катится, а ты иди туда, куда ведет моя кровь. Только на нее смотри, не оглядывайся, не то подхватят тебя сполохи северного сияния. Кто бы тебя ни звал, кто бы ни манил — никого не слушай. Даже Солнцу в глаза не смотри, смело шагай по тропе моей крови. Она тебя к реке выведет, там, на другом берегу, вежу увидишь. Крикни, чтобы тебе лодку прислали, и спой песню о Найнасе, которой я тебя научил.

Никия бросила моток на землю, схватила луч и тронулась в путь.

Алая тропа вела ее по горам и лесам, мимо рек и озер, меж сосен и елей, поросших бородатыми мхами, по ягелю пушистому, по камням острым и через глухие ущелья, где вечно лежал снег, а скованные морозом водопады свисали со скал и обрывов голубыми и зелеными каскадами.

Все живое выходило ей навстречу и, как умело, зазывало к

себе. Птицы — пением, мыши — тонким свистом, заяцы — лапками по земле барабанили, а медведь Никию ревом превозносил — мол, краше она ягоды морошки. Кланялись Никии сосны и вековые ели, приглашая отдохнуть в своей тени, радуга к себе манила, дугой изогнулась, даже сын Солнца примчался, заискрился и светом ладонь ей поцеловал. Никия тучу миновала, на Пейвалке внимания не обратила, только за тем следила, чтобы не потерять алую тропу своего мужа Найнаса. А тропа все дальше и дальше бежала.

Наконец добралась она до реки. Увидала на другом берегу вежу и запела песнь о Найнасе. Мать Найнаса, услыхав, что пришла невестка, сама села в лодку, через реку приглянувшуюся сыну девушку перевезла. По дороге спрашивает Никию:

— Кто ты?

— Я жена Найнаса, Никия. Меня нет. Постели нам в чулане.

Удивилась мать Найнаса такому ответу, но ничего не сказала. Молодой паре постелили в чулане, так, как просила Никия. С тех пор каждый вечер, едва опускались сумерки, являлся Найнас в человеческом обличье, а с первым лучом утренней зари исчезал. Нельзя ему при дневном свете быть человеком среди людей.

Однажды, возвращаясь от источника с коромыслом, Никия столкнулась с матерью Найнаса.

— Эх, милая, — жалуется старуха, — вроде я его мать, а ни разу своего сыночка не видела. Едва рассветет, его и след простыл, днем любимое имя нельзя вымолвить, ночью слышу, что приходит он к тебе, но не вижу его. Помоги мне сына увидеть.

— Я Никия, меня нет.

— А я его мать. Разве это справедливо, что ты его каждую ночь обнимаешь, а я даже разочек увидеть не могу?

— Тяжела твоя доля, матушка, попытаюсь тебе помочь. Вытку пояс звездами, темный, как ночное небо. Заслоню им вход в наш чулан, чтобы лучи Солнца не могли заглянуть внутрь. Когда твой сын проснется, подумает, что еще ночь. И тогда ты его увидишь.

Всю ночь Никия ткала пояс, серебряными и золотыми нитками звезды на нем вышивала и перед рассветом, прежде чем заря встала, развесила темное небо над головой Найнаса, а сама пошла по воду, оставив мужа в теплой постели. Найнас проснулся раз, проснулся другой, увидал, что ночь звездами на небе мерцает, и на другой бок перевернулся.

Солнце тем временем уже высоко поднялось.

Не дождавшись Никии, мать Найнаса раздвинула звездный пояс, чтобы увидеть сына. Лучу Солнца того и надо. Вскочил Найнас с теплой постели, в одну сторону метнулся, в другую бросился, наконец наружу выскочил. Тут Солнце его и настигло…

Только мать сына и видела. На ее глазах тенью растаял. Никия как раз воду домой несла, бросила коромысла, хотела мужа грудью заслонить. Солнце ее за волосы схватило и потащило вверх, обжигая. Никия кричала, звала мужа на помощь. Тщетно! Наконец Солнце смилостивилось и бросило несчастную на лоно Луны.

Посмотри на Луну, видишь на ней тень? Это жена Найнаса — Никия. Тень-той-которой-нет. Ткачиха звездного неба.

Вот и сказке конец.

ПОХВАЛА ТЕНИ

Западная бумага свет отражает, а наша впитывает, словно пушистая поверхность первого снега.

Танизаки Юнихиро

Паскаль Киньяр относит «Похвалу тени» Танизаки к лучшим текстам, созданным человечеством! Я вполне разделяю точку зрения французского мэтра. Более того — в эссе японского писателя, воспевающем красоту древней Ниппонии, я обнаруживаю мысли, которые вполне приложимы к волшебству Севера. Я имею в виду созерцание света как беспрерывной игры бледных огней и оттенков полумрака различной интенсивности. Этой игрой я восхищаюсь здесь уже многие годы.

На первый взгляд, Танизаки ведет с читателем игру. Начинает с оды в честь мрака японского сортира, которому противопоставляет стерильные западные туалеты, где снежная белизна раковины и яркое освещение слишком открыто демонстрируют выделения нашего тела. Восхваляет темные лаковые миски, скрывающие пищу (не то, что европейская тарелка — мелкая и светлая), ладонь ощущает колыханье жидкости, облачко пара доносит аромат, и суп обретает вкус дзен. Танизаки восхищается черненными зубами японских женщин, которые, в отличие от западных барышень в неглиже, прячут во тьме даже внутренность рта. И так далее. Через весь текст — рефреном — проходит противопоставление эстетики Востока и Запада. Порой кажется, что пример взят исключительно забавы ради, порой задумываешься всерьез. Пока наконец до тебя не доходит, что суть — в чем-то более глубоком, чем кажется на первый взгляд.[142]

Возьмем еще один пример — строительство. Танизаки пишет, что на Западе дома строят так, чтобы внутрь проникало как можно больше света, а японские дома с их широкими навесами подобны… пещерам. Вот именно — пещеры! Автор недвусмысленно напоминает читателю о каменном веке, когда жилища первобытных людей освещались живым огнем (а не презираемым Танизаки электричеством), а тени, маячащие на стене, были реальнее идей Платона. Потом пути человечества разошлись. Разум одних погнался за греческими абстракциями,

разделяя свет и мрак, правду и фальшь, грязь и чистоту, добро и зло. Другие удовлетворились созерцанием обманчивых форм мира, видя в них бренность и эфемерность собственного существования.

Нетрудно догадаться, чью сторону принимает автор «Похвалы тени» — подобно своему европейскому ученику Паскалю Киньяру, создателю «Блуждающих теней»!

Остается объяснить, при чем тут Север. А очень даже при чем! Достаточно пожить в кочевом чуме и посидеть у огня, запанибрата с тенями (тени в чуме переливаются, точно значения слов), чтобы понять — мы недалеко ушли от пещерных жителей. Достаточно пережить долгую полярную ночь с космической бездной над головой, чтобы голова эта наконец уразумела — неба нет.

Поэтому о Севере лучше всего писать на японской бумаге, впитывающей свет, насыщающей им текст. Западный глянец пускай остается фирменной бумагой всевозможного гламура. Ведь и писателю следует жить в тени своего текста, подобно северному охотнику, таящемуся во мраке, чтобы не быть замеченным жертвой. На свет летят лишь ночные мотыльки да топ-модели.

Сейчас мало кто хочет оставаться в тени. В тени ведь человека не видно, а кого не видно (например, на телеэкране), тот словно бы не существует вовсе. Поэтому все, кто может, тянутся к свету — желая «засветиться» (как говорят в России), то есть продемонстрировать себя! Хоть анонимной мордой из-за чужой спины на пятом плане выглянуть. Хоть ценой скандала на мгновение сделаться героем. Только бы свет вспышки вырвал из мрака.

Несколько дней назад я встретился со своим старым приятелем Рышардом С. Рысек изъездил полмира. Практиковал дзен в монастырях Японии, в Калифорнии писал портреты голливудских див. Познал эстетику Востока и Запада. Потягивая вино под зонтиком «Каси» (прежняя «Роксана») в Бискупине, мы болтали о тенях. В воздухе пахло салатом и сиренью. В какой-то момент С. поставил свою рюмку перед свечкой, а в ее тени — коробок спичек.

— Посмотри, оказавшись в тени, большей, чем ты сам, теряешь собственную тень.

Вроцлав, май 2007

Порывистый ветер
задул осень

— словно свечу.

Опавшие листья
догорают в снегу.

notes

1

Пер. А. Бобовича. *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Нойд — саамский шаман. Курсивом выделены примечания автора. *И. А.*

3

Монах соловецкого монастыря.

4

Сейд — в переводе с саамского — «дух»; сейд-камень — дух человека, который превратился в камень.

5

Ежи Гедройц (1906–2000) — польский публицист, политик, мемуарист, основатель и редактор польского эмигрантского журнала «Культура» (1947–2000) в городке Мезон-Лаффит неподалеку от Парижа.

6

Один из Соловецких монахов.

7

Явр — в переводе с саамского — «озеро», Сейдъявр — озеро Духов.

8

Жена Мариуша Вилька.

9

Надежда Валентиновна Лобанова (р. 1953) — археолог, научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского Научного центра РАН. С ранних студенческих лет и до настоящего времени ее научная деятельность связана с эпохой неолита и карельскими петроглифами. С 1981 г. проводит самостоятельные полевые исследования онежских, а с 2000 г. — беломорских наскальных изображений. Основное направление научных интересов Н. В. Лобановой связано с датировкой петроглифов, раскопками неолитических памятников в районе Бесова Носа. В 1998–2002 гг. Н. В. Лобанова являлась координатором и руководителем карельско-норвежского проекта «Сохранение петроглифов Карелии». В рамках этого проекта были открыты новые гравировки на Онежском озере и Белом море, создана электронная база данных, включающая всю необходимую информацию о наскальных памятниках: цветные и черно-белые фотографии петроглифов, графитные копии, описания, трактовка рисунков различными исследователями, степень сохранности и обрастания лишайниками и т. д., созданы детальные карты и схемы расположения памятников.

10

Владислав Иосифович Равдоникас (1894–1976) — профессор, выдающийся советский археолог, крупный специалист в области изучения древнего монументального искусства, первооткрыватель группы петроглифов Старая Залавруга, Ерпин Пудас 1–2 и Бесовы Следки (южная группа). В. И. Равдоникас положил начало изучению наскальных памятников в СССР. Одной из самых больших его заслуг являются обстоятельные публикации наскальных изображений Онежского озера и Белого моря (1936, 1938) — результат тщательных и интенсивных полевых исследований. В своих работах ученый (автор «солярно-лунарной гипотезы», основной научный оппонент А. М. Линевского) рассматривал наскальные изображения Карелии не как простые снимки с натуры, а видел в них фантастические образы, наделенные символическим содержанием. Работы В. И. Равдоникаса являются актуальными и в настоящее время, а его интерпретация загадочных онежских знаков в качестве солярных символов принимается большинством ученых.

11

Александр Михайлович Линевский (1922–1985) — писатель, историк, археолог, этнограф и фольклорист. Первооткрыватель петроглифов Белого моря в 1926 г. (группа Бесовы Следки, более 300 изображений). Начиная с этого времени и вплоть до 1930 г., А. М. Линевский работал на Беломорских и Онежских петроглифах. Его деятельность послужила стимулом для интереса к карельским гравировкам со стороны других известных ученых (А. Я. Брюсова, В. И. Равдоникаса, А. Д. Столяра, Ю. А. Савватеева).

А. М. Линевский первый сделал петроглифы предметом специального научного исследования. В своих основных научных трудах — «Петроглифы Карелии» (1939) и «Очерки по истории древней Карелии» (1940) — пытался реконструировать смысловое значение наскальных изображений, выделить хронологические пласты. Выдвинул и обосновал «капканную» гипотезу трактовки загадочных знаков Онежского озера. Кроме того, А. М. Линевский получил особую известность как автор повести для школьников «Листы каменной книги», основанной на исследовании карельских петроглифов. Книга получила мировую известность, издавалась много раз, в том числе за рубежом, став одним из лучших произведений о жизни и быте древних людей.

12

Брюс Чатвин (1940–1989) — английский писатель. Был экспертом по импрессионизму в аукционном доме Сотбис. С 1972 года работал в отделе искусства журнала «Санди Таймс». Изучал археологию, много путешествовал по Европе, Латинской Америке, Западной Африке, Ближнему Востоку, Индии, Австралии, России, что дало ему материал для путевых заметок и художественной прозы, отличавшихся крайней экономностью и, вместе с тем, образцовой экспрессивностью «номадического письма», как называл его сам автор.

13

Константин Демьянович Лаушкин (1922–1994) — археолог и этнограф, специалист в области первобытной идеологии, сторонник взглядов В. И. Равдоникаса. Его основная публикация «Онежское святилище» (1959) посвящена расшифровке ряда сюжетов (всего около 20 композиций) наскальных полотен, трактовке некоторых гравировок на основе археологических (Оленеостровский могильник), этнографических (саамский фольклор и древняя мифология) данных, а также на материалах эпоса «Калевала». К. Д. Лаушкин полагал, что с их помощью можно восстановить смысл древних гравировок. Саму территорию Онежских петроглифов исследователь считал грандиозным полифункциональным святилищем, где основным был культ Солнца.

14

Меццо-тинто — вид гравюры на металле.

«Путешествие в Лапландию» (лат.).

16

Иоганн Блуменбах (1752–1840) — немецкий физиолог, анатомист, основатель физической антропологии.

17

Захарий Ефимович Черняков (1900–1997) — лингвист, педагог, исследователь саамской культуры, создатель первого саамского букваря.

18

Паскаль Киньяр в книге «Секс и страх» пишет: «Взяв лук, первобытный охотник сыграл на единственной его струне смертоносный звук (то есть изобрел музыку смерти) — речь, направленную на добывание пищи». И, далее: «Читать — значит искать глазами, через века, эту единственную стрелу, выпущенную изнутри, из глубины, от начала начал». Признаюсь, что интуиция французского писателя во многом вдохновила меня на то, чтобы отправиться по тропе саамов.

19

Элиас Лённрот (1802–1884) — выдающийся исследователь и издатель карело-финского эпоса «Калевала», языковед, врач по образованию.

20

Лазарь Муромский (Мурманский; 1286–1391) — преподобный Русской церкви. В 1352 году переселился на необитаемый полуостров Мурму, или Мучь на Онежском озере, где крестил многих лопарей; некоторые из них приняли иночество в основанной им обители. Житие Лазаря было описано им самим в предсмертном завещании. По преданию, преподобный Лазарь собственными руками построил небольшую деревянную церковь в честь Воскрешения Лазаря, сохранившуюся до наших дней.

21

Ву-вей — в даоизме: не-действие, или жизнь, подчиненная Пути.

22

См. эпиграф к этой главе.

23

От *лат.* viaticum — последнее причастие, пища для последнего странствия, провизия для идущего в бой солдата.

24

Важенка — самка оленя. В наречьях Кольских саамов существует восемнадцать определений для оленя мужского рода и десять для особей женского пола — в зависимости от возраста, плодовитости, характера, места, занимаемого в стаде и т. д.

25

Николай Николаевич Волков (1904–1953) — ученый-этнограф. В 1947 подготовил исследование «Саамы СССР». Под влиянием В. И. Равдоникаса стал заниматься изучением вепсов. В конце 1930-х-1940-е совершил шесть экспедиционных поездок для исследования вепсской культуры. Готовил монографию о вепсах, которую не успел завершить до ареста (в 1947, умер в 1953 в заключении в Вятлаге, посмертно реабилитирован в 1989 г.).

26

Кувакса — палатка; когда-то делалась из оленьих шкур, теперь из брезента. Разновидность чума.

27

Владимир Владимирович Чарнолуский (1894–1969) — ученый-этнограф, участник многих экспедиций на Кольский полуостров. Автор многих книг о саамах, исследователь и издатель саамских сказок и мифов. Пережил арест (1938).

28

Погост — сезонное саамское поселение. Саамы вели полукочевой образ жизни, и тропа их включала несколько постоянных стойбищ, на которые они возвращались каждый год. Зимние и летние стойбища, где они проводили больше времени, по-русски назывались «погосты». Чарнолуский замечает, что в саамском языка нет понятия дома. Саамы, использовали два, три, четыре или более помещений (тупа, вежа, кувакса), не объединенных общей крышей, но разбросанных по кочевой тропе. В них жили в определенное время года, связанное с ритмом выпаса оленей и временем нереста рыб. Каждое из этих помещений было устроено таким образом, чтобы выполнять свою функцию на данном этапе скитания. Другими словами, домом саама была его кочевая тропа.

29

Григорий Соломонович Померанц (р. 1918) — философ, культуролог, писатель, эссеист. В 1949 был арестован по обвинению в антисоветской деятельности, в лагере до 1953, реабилитирован в 1956. Участник диссидентского движения.

30

Давид Алексеевич Золотарев (1885–1935) — этнограф, антрополог, краевед. Стремился объединить усилия специалистов по этнографии, антропологии, языкознанию, фольклору, истории. При изучении русского и финноязычного населения особое внимание обращал на взаимодействие культур. Арестован в 1930, освобожден досрочно в июне 1932. Повторно арестован в 1933, умер в Сиблаге (г. Мариинск). Реабилитирован в 1956.

31

Коми-ижемцы, ижемцы — этнографическая группа в составе народа коми.

32

19 января православные празднуют Крещение, а саамы — конец полярной ночи.

33

Тупа — сруб, зимнее жилище саамов.

34

Тундра — по-саамски — горный массив, поросший бедной растительностью. Ловозерские тундры — горный массив на Кольском полуострове, между Умбозером и Ловозером, в Мурманской области. Высота до 1120 м (г. Ангвундасчорр). Вершины плоские, безлесные, каменистые; склоны крутые, покрытые в нижней части хвойным лесом.

35

Население самого Ловозера насчитывало в то время семьсот сорок пять человек, из которых половину составляли коми-ижемцы, одну треть — саамы. Ненцев было шестьдесят человек, а русских — тридцать. Сегодня здесь три тысячи пятьсот один житель, из которых семьсот девяносто — саамы.

36

Вавнбед — от саамского слова «педт» («попа») и «аввна» («голая»). Гора в массиве Ловозерских тундр, которую видно из моего окна. Местные рыбаки прозвали ее Машкиной Задницей.

37

Александр Андреевич Кобелев — президент Совета саамов.

38

Октябрина Владимировна Воронова (1934–1990) — саамская поэтесса. Писала на русском и саамском языках.

39

Чеслав Милош.

40

Вежа — что-то вроде полуземлянки; самый древний тип зимнего жилища у саамов.

41

Яры — меховые сапоги выше колена; шьются из шкуры, снятой с ног оленя.

42

Печок — саамская зимняя одежда, сшитая из оленьего меха волосом наружу.

43

Валерий Дидюля — белорусский гитарист и композитор, лидер группы «ДиДюЛя». Исполняет фолк-музыку и музыку в жанре фьюжн.

Совет саамов (англ.).

45

Александра Андреевна Антонова (р. 1933) — автор саамского букваря, переводчик, литературовед, поэтесса.

Монче — в переводе с саамского — «красивый».

47

Инуиты — самоназвание эскимосов.

48

Большеземельская тундра — холмистая моренная равнина между реками Печорой и Усой, Уралом и Пай-Хоем, в пределах Ненецкого автономного округа (Архангельской области) и Коми АССР.

49

XIII Саамская конференция в г. Оре, Швеция, одобрила произведение Исака Сабы «Песнь саамского рода» в качестве текста официального саамского гимна; Исак Саба (1875–1929) — депутат стортинга Норвегии (1906–1912), участник археологических раскопок, собиратель саамских песен и йойки.

50

Василий Галкин — многократный чемпион летних саамских игр.

51

Эльвира Абрамовна Галкина (р. 1965) — саамская поэтесса, исполнительница саамских песен.

52

Джоан Чендос Баэз (р. 1941) — американская певица и автор песен, исполняющая музыку преимущественно в стилях фолк и кантри, политическая активистка.

53

Аскольд Алексеевич Бажанов (р. 1934) — саамский поэт и прозаик.

Иван Матрехин — ловозерский самодеятельный поэт.

55

Георгий Мартынович Керт (1923–2009) — ученый, языковед, специалист по северной топонимии. С 1953 года работал в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, специализировался по диалектам саамов Кольского полуострова. Им был собран значительный текстовый и аудио материал по языку и фольклору саамов. Г. М. Керт занимался вопросами применения ЭВМ в исследовании топонимии.

56

Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–1949) — лингвист, один из создателей отечественного финно-угроведения.

57

Олени немы, поэтому их использовали во время Второй мировой войны на Севере, чтобы незаметно подобраться к врагу. Единственный звук, который они издают, — как раз хорканье во время родов.

58

Чальмны-Варрэ — в переводе с саамского — «Глаза Леса». Это старое саамское стойбище. В 1972 году археолог Нина Гурина открыла там петроглифы IV тысячелетия до нашей эры… Мотив глаз, которыми смотрит на нас природа, часто встречается в поэзии Октябрины Вороновой.

59

Чум-работница — женщина, которая кочует вместе с мужчинами, готовит им и убирает.

60

Красный чум — своего рода клуб в чуме, где занимались политграмотой, то есть идеологической муштрой кочевников.

61

Яков Яковлев (р. 1962) — живописец, художник книги, мастер декоративно-прикладного искусства.

Лариса Павловна Авдеева.

63

Камлание — техника экстаза, с помощью которой шаман покидает свое тело и попадает в мир духов.

64

Легенда Цоя отнюдь не умерла… Пару лет назад, будучи проездом в селе Важуга на Терском берегу Белого моря, я участвовал в необычном концерте-обряде: белой ночью местные подростки собрались в одном из рыбацких сараев с гитарами и пивом и до утра пели песни Цоя.

65

Чахкли — мифические существа, обитающие, согласно саамским верованиям, под землей.

66

Увы, из этой затеи ничего не вышло: еще до того, как я вернулся в Ловозеро, Яков расстался с женой и поселился в своей мастерской. Зато благодаря нему я кое-что узнал о практике саамских нойдов. Более того, в декабре 2006 года (а точнее, на Рождество) Яша продемонстрировал мне «прикосновение смерти». Ни бубнов, ни медвежьих зубов, ни птичьих перьев у него не было, и все же во время его транса я заглянул во тьму правремен и улетел, едва не наложив в штаны от страха. (Более поздняя запись. — М. В.)

67

Николай Николаевич Харузин (1865–1900) — русский этнограф, историк и археолог.

68

Вацлав Леопольдович Серошевский (1858–1945) — польский этнограф-сибиревед, писатель, публицист, участник польского освободительного движения. В 1933–1939 годах был президентом Польской академии литературы. Участвовал в рабочем движении, в 1879 за сопротивление полиции приговорен к восьми годам тюрьмы. Приговор был заменен ссылкой в Якутию, где Серошевский провел двенадцать лет. Здесь он стал писать рассказы из жизни местных жителей, собирать этнографические материалы, женился на якутке. В 1892 Серошевскому было разрешено свободное передвижение по Сибири. В Иркутске он закончил научный труд на русском языке под названием «Якуты. Опыт этнографического исследования», который был издан (1896) и премирован Географическим обществом. Этот труд является одним из наиболее полных исследований состояния традиционного быта и культуры якутов конца XIX века. В 1898 Серошевскому было разрешено вернуться на территорию Царства Польского. В конце 1890-х гг. путешествовал по Кавказу. В 1903 вместе с другим польским этнографом, Брониславом Пилсудским, участвовал в экспедиции Русского географического общества к хоккайдским айнам, прерванной из-за осложнения отношений между Россией и Японией. После завершения экспедиции побывал в Корее, Китае, на Цейлоне, в Египте и Италии. Материалы, собранные на Дальнем Востоке, легли в основу второго этнографического труда Серошевского «Корея» (1905). На польско-русском съезде в Москве 12 апреля 1905 г. Серошевский произнес речь о совместной борьбе, в которой прозвучали знаменитые слова «за нашу и вашу свободу». В 1914 Серошевский вступил в легионы Пилсудского. В 1918 году был назначен на пост министра информации и пропаганды во Временном правительстве Дашинского. В 1935–1938 гг. член сената Польши.

69

Анджей Шиевский — польский религиовед, этнолог. Сотрудник Ягеллонского университета в Кракове.

Тадибей (тадибе) — самоедский шаман.

71

Пер. А. Гелескула.

«История северных народов» (*лат.*).

«Северное путешествие» (*итал.*).

В 2005 году в Упсале вышла его книга «Reindeer-herders. Field-notes from the Kola Peninsula (1994–1995)» — плод времени, проведенного в тундре с бригадой пастухов оленей.

Иван Васильевич Вдовин — заместитель главы администрации Ловозерского района.

В книге «Running with Reindeer» (Лондон, 2003) Константинов выражается о ней скептически. Он утверждает, что Тук пошел по легкому пути, «вытягивая из кольской пряжи наиболее сенсационные нити» — лагеря, военные базы и пр. Болгарский исследователь замечает, что отношение англичанина к местному населению отсылает к традициям английских колонизаторов в Индии.

77

Иван Ильич Пушкарев (1808–1848) — историк, статистик, краевед.

*Справедливости ради добавлю, что весь этот хлам быстро убрали. Уборкой занимались и коммунальные службы (работа которых здесь поставлена на удивление эффективно), и сами жители Ловозера — во время «субботника». В России чем дальше на север, тем больше встречаешь реликтов советского порядка. (*Более поздняя запись. — *М. В.)*

79

Ёрник (простореч.) — карликовая береза. Ветры и морозы превратили ее в природный бонсай Севера.

80

Фирн — плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизованный, обычно многолетний снег, промежуточная стадия между снегом и глетчерным льдом.

81

«Вильком» — старинная форма приветствия: «здравствуй» (или «здравствуйте»), а также кубок, из которого пили, встречая гостя. См. «Словарь польского языка» Витольда Дорошевского.

82

Кеннет Уайт (р. 1936) — поэт, писатель, мыслитель. Родился в Глазго, с середины 1960-х живет и работает во Франции. Основатель Института геопоэтики. Автор философских книг «Тихий Апокалипсис» (1985), «Дух кочевья» (1989), «Альбатросова скала: Введение в геопоэтику» (1994), «Парадоксальная стратегия: Опыт культурного сопротивления» (1998), «Дикие лебеди».

83

Клаудио Магрис (р. 1939) — итальянский писатель, журналист, эссеист, исследователь австрийской и немецкой культуры.

84

Николя Бувье (1929–1998) — швейцарский писатель, путешественник, фотограф. Бувье объездил пол-мира: побывал на Балканах, в Центральной Азии, Индии, Афганистане, надолго задержался на Цейлоне, морем добрался до Японии. Это длительное путешествие положено в основу трех его самых известных книг: «Так в мире повелось», «Рыба-скорпион», «Японские хроники». Внимательный наблюдатель, «мировой регистратор» (по его собственным словам), он зарабатывал на жизнь журналистикой, занимался фотографией. «Путешествие не нуждается в мотивировках, — писал Николя Бувье. — Оно не замедлит доказать вам, что самодостаточно. Вам поначалу покажется, что это вы его проделываете. На самом деле это оно проделает что-то с вами, или переделает вас до неузнаваемости».

85

Шандор Мараи (1900–1989) — венгерский писатель.

86

Венгерский язык относится к огромной семье уральских языков, а следовательно, родственен саамским наречиям.

87

Роман Ш. Мараи «Угольки» (1942).

88

Национальная библиотека Республики Карелия в Петрозаводске.

89

Должность товарища министра была предусмотрена для пяти из восьми министерств, учрежденных Манифестом 8 сентября 1802 г.

Вотяки — удмурты.

91

Юкагиры (самоназвания: деткиль, одул, ваду, алаи) — восточно-сибирский народ. Относятся к древнейшему (аборигенному) населению северо-восточной Сибири. Традиционные занятия — рыболовство (с помощью невода), охота на диких оленей, ездовое собаководство.

Примеры этих галлюцинаций в книге «На севере» — одно из первых в литературе описаний так называемой арктической истерии (иначе: меряченье), в котором многие исследователи усматривают генезис северного шаманизма.

93

Пер. А. Гитовича.

94

Орогенез (горообразование) — процесс формирования горных сооружений под влиянием интенсивных восходящих тектонических движений, скорость которых превышает скорость процессов, ведущих к выравниванию поверхности Земли. Процессы горообразования неоднократно происходили на протяжении геологической истории в заключительной фазе развития геосинклиналей (молодые горы), нередко распространяясь и на платформы (возрождённые горы). Главное проявление — складкообразование. В геологической терминологии орогенез является синонимом процесса складкообразования в результате вертикальных тектонических движений. Таким образом, каледонская складчатость — это продукт каледонского орогенеза.

95

Александр Васильевич Барченко (1881–1938) — писатель, журналист. По профессии — врач-невропатолог. Был ученым консультантом Главнауки, заведующим нейроэнергетической лабораторией Всесоюзного института экспериментальной медицины. Арестован в мае 1937 (обвинялся в шпионаже, в организации масонской террористической контрреволюционной организации «Единое трудовое братство») и расстрелян в 1938 г. Реабилитирован в 1956 году. При аресте у Барченко были конфискованы и после приговора уничтожены все книги, рукописи и его главный научный труд «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя» со всеми приложениями, которые он готовил к печати.

96

Меряченье (от якутск. «мэнэрик» — «делать странности»), или арктическая истерия — состояние, характеризующееся подражанием словам, жестам и действиям окружающих, неудержимым желанием исполнить их приказы, а также другими проявлениями. Иногда носит массовый характер. Наблюдалось в начале XX в. среди аборигенов Сибири и проживавшего там русского населения. В связи с этим появился термин «психическая зараза». Юкагиры и якуты обычно связывали болезнь с кознями тундровых шаманов, разгневанных на людей, тревожащих их покой. Русские называли эту хворь «лангутским припадком». В 1870 году сотник Нижне-Колымского казачьего отряда в ужасе сообщал местному врачу: «Болеют какой-то странною болезнью в Нижне-Колымской части до 70-ти человек. Это их бедственное страдание бывает более к ночи, некоторые с напевом разных языков, неудобопонятных; вот как я каждодневно вижу 5 братьев Чертковых и сестру их с 9 часов вечера до полуночи и далее; если один запел, то все запевают разными юкагирскими, ламаутскими и якутскими языками, так что один другого не знает; за ними их домашние имеют большой присмотр».

97

Валерий Никитич Демин (1942–2006) — российский ученый и писатель, доктор философских наук. Автор книг и статей, посвященных гиперборейской тематике. Руководитель первых научно-поисковых экспедиций «Гиперборея».

98

Цирк — котловина или окруженное крутыми склонами чашеобразное расширение в верхней части горной долины, где обычно скапливаются лед, фирн или вода в виде озера.

99

Эвдиалит (от *греч.* eu — хорошо и dialytos) — красивейший и редкий минерал, сложный силикат циркония, натрия и кальция с включениями различных редкоземельных элементов. Просвечивает по краям или полупрозрачен в тонких сколах. Хорошо растворяется в кислотах. Иногда слабо радиоактивен. Хрупкий.

100

Вильгельм Рамзай (1865–1928) — финский ученый-геолог, исследователь Хибинских и Ловозерских тундр.

101

Юхан Аксель Пальмен (1845–1919) — финский зоолог, член-корреспондент Петербургской АН.

102

На сегодняшний день в массиве Ловозерских тундр открыто более пятисот минералов. То есть больше, чем в районе Лонгбан в Швеции или Тсумеб в Намибии.

103

Лопарит — руда железисто-черного, с поблескиванием, цвета, порой с просветами красного. Название от слова «лопарь».

104

«Место силы» (ср. англ. «Place of Power») — местность с повышенной энергетикой, особой атмосферой, способствующее гармонизации организма и позитивному настрою или ухудшению самочувствия. В местах силы часто происходят различные аномальные явления.

105

В июле 1993 года на страницах журнала «Наука и религии» была опубликована статья внука Барченко, который пополнил биографию деда несколькими незначительными деталями из семейного архива. Как мне кажется, он пытался очистить память о деде от подозрений в сотрудничестве с «органами», но добился скорее обратного результата.

106

Веданта — одна из шести ортодоксальных школ в философии индуизма.

107

Согласно интерпретации автора открытия, текст этой молитвы является воззванием к Дали, богине Луны, с просьбой взять под свою опеку сынов богобоязненной Туле. «Туле» — другое название Гипербореи, использовавшееся в начале нашей эры географом и путешественником Страбоном в его знаменитой «Географии».

108

Пер. А. Гитовича.

109

Пер. А. Кувшинова.

110

Сергей Торопцев, один из наиболее выдающихся российских комментаторов творчества Ли Бо, предполагает, что «Ночные мечтания» возникли не в постели (как думает Ярек Завадский), а на деревянном ложе у монастырского колодца во время одного из пребываний Ли Бо в даосском монастыре Силин в 727 году.

111

В книге «Писатель и самоубийство» (1999). Рассматривая исторический, юридический, религиозный, этический, философский и иные аспекты самоубийства, книга уделяет особое внимание судьбам литераторов-самоубийц. Последняя часть книги — «Энциклопедия литературицида» — содержит более 350 биографических справок о писателях, добровольно ушедших из жизни.

112

Пер. И. Лисевича.

113

Пример пластичности русского языка: достаточно добавить одну согласную, и вместо обычной семьи («пирас») мы получаем группу педерастов («пидрас»). Так нарекли саамскую фирму охранники заповедника Сейдъявр, когда мы спросили, как добраться до общины пастухов. Продемонстрировав, что, во-первых, Север еще не познал «политкорректности», позволяющей трактовать связь двух (и более) мужиков как нормальную семью, а во-вторых — что за неприязнью охранников заповедника к пастухам стоит конфликт интересов в Луяврурте.

114

Танцующей березой называют здесь карликовую березу (betula папа), которая своими судорожно вывернутыми ветвями действительно напоминает подростка на танцплощадке…

115

Бичевать — бродяжничать. Кроме того, в этом слове скрыта ассоциация с ироническим определением «бывший интеллигентный человек».

Артель занималась покраской фабричных труб и прочих высотных конструкций.

117

Балтасар Грасиан-и-Моралес (1601–1658) — испанский писатель, философ и теоретик литературы; иезуит.

118

Краеведческий музей ОАО «Северные редкие металлы» в пос. Ревда.

119

На русском языке книга выйдет в Издательстве Ивана Лимбаха в 2011 году

120

Международная радикальная экологическая организация.

Заинтересовавшихся отсылаю к его Интернет-странице: www.ruslapland.ru

122

Роберт Скалл — коллекционер поп-арта.

123

Иглу — зимнее жилище эскимосов. Представляет собой куполообразную постройку диаметром 3–4 метра и высотой около двух метров из уплотненных ветром снежных или ледяных блоков.

124

Малица — длинная мужская одежда глухого покроя у ненцев, частично у коми, хантов и манси (оленеводов). Шьется из оленьих шкур шерстью внутрь, только подол — шерстью наружу; иногда имеет капюшон из более тонких шкур мехом вверх; к рукавам пришиваются рукавицы.

125

Пимы — меховые сапоги у северных народов.

126

Шерпы — народность, живущая в Восточном Непале, а также в Индии. Кроме земледелия, скотоводства и торговли, традиционным занятием шерпов является участие в восхождениях на горные вершины, где они практически незаменимы в качестве носильщиков.

127

Да-да, я не политкорректен! Для меня ядро семьи — это женщина и мужчина! Лемминг и его коллеги того же мнения, поэтому в названии их общины я вижу лишь отчаянное желание вернуться к старым временам — когда мужчина и женщина вместе кочевали по тундре, — а отнюдь не аллюзию с геями.

Йойк — горловое пение у саамов.

129

Вернер Херцог (р. 1942) — немецкий режиссер, сценарист, актер, писатель.

130

Лотта Эйснер (1896–1993) — немецкий искусствовед, эссеист, поэтесса.

131

В начале осени собирают оленей и загоняют их в корраль (загон) для пересчета.

SPATiF — Stowarzyszenie Polskich Artystyw Teatru i Filmu — Общество польских художников театра и кино.

133

Траверс (*альп.*) — направление, перпендикулярное направлению подъема (спуска) на горе. Выражение «проходить траверс(ом)» означает, что альпинист двигается по склону без набора и без потери высоты, то есть «вбок» относительно принципиальной линии маршрута. Используя траверс, обходят участки, которые очень сложно преодолеть.

134

Просматривая свои записи о Луяврурте, я подумал, что стоит привести фрагмент из «Лапидария» Капущиньского: «Тепоцтлан, Монте Альбан, Мачу Пикчу — религия индейцев и католическая религия. Их религия требовала открытого пространства, монументального пейзажа. Наша религия — это сгущение, плотная, потная, напряженная толпа. Их религия — человек в неохватном пейзаже, бескрайнее небо, земля и звезды. В таком пространстве толпа исчезала, растворялась в пейзаже, в этих гигантских декорациях толпа не могла уничтожить личность, человек оставался один на один с Богом, чувствовал себя свободным, чувствовал свою связь с божественным величием. Сакральная архитектура индейцев сводится к простейшей геометрии. Никакие детали не отвлекают внимание. Взгляд блуждает в пространстве. У нас — толпа и теснота, у них — свобода и бесконечность, здесь ограничивающая стена, там — безграничный пейзаж».

135

Эйхэй Догэн (1200–1253) — японский мыслитель, патриарх дзен, основатель японской школы Сото.

136

Сатори — в медитативной практике дзен внутреннее персональное переживание опыта постижения истинной природы (человека) через достижение «состояния одной мысли». В медитативной практике дзен считается, что достичь состояния сатори можно, благодаря тривиальным, ординарным событиям и предметам.

137

Мульда — обширный, овальный в плане тектонический прогиб земной коры без существенных нарушений и разрывов слоев горных пород.

138

Сало (ледяное сало) — густой слой мелких ледяных кристаллов на поверхности воды, форма морского льда, вторая стадия образования сплошного ледяного покрова. Издали полосы и пятна сала придают поверхности воды матовый оттенок.

139

При написании «Сказки об алой тропе» я пользовался записями Владимира Чарнолуского. Этнограф пытался воссоздать архаический саамский эпос из фрагментов сказаний лопарей, немало добавляя от себя при переводе на русский язык. Моя версия — не просто перевод русского варианта мифа, но весьма свободная интерпретация. Мне хотелось посмотреть, как это может прозвучать по-польски… Цикл о Никиш я выбрал потому, что он показался мне наиболее полным воплощение саамского фольклора — здесь есть все три стихии шаманского космоса: небесная, земная и подземная, а также ряд элементов шаманской магии.

140

Вангас — саамское лассо.

141

Кережа — древнее транспортное средство саамов — лодка на одном полозе. В нее запрягали одного оленя.

142

Я имею в виду разницу понимания тени в традиции Запада и в японской «каге» (в переводе с японского «каге» означает «тень». — И. А.). Согласно Нобуюки Кобаяши, «речь идет не о дуализме света и тьмы, но об амбивалетном, в силу его полусумрачности, явлении каге. В нем архаическая японская концепция существования, полагающая мир подчиняющимся постоянным переменам и сменам преходящих теней, не в состоянии распознать субстанциональность в декартовском смысле. Мир является здесь бесконечной метаморфозой различных эфемерных форм, данных в созерцании, в нечеткости их свето-теневой натуры». Цитирую по тексту Кристины Вилькошевской (предисловие к третьему тому блестящей антологии «Японская эстетика», опубликованной издательство «Университас» в Кракове в 2005 году).